МАНСУР АБДУЛИН

От Сталинграда до Днепра

Пехотинец
Год на фронте

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Если можно сказать «повезло» о человеке, тяжело раненном и комиссованном вчистую, то Мансур Абдулин был на редкость удачлив. Ему повезло, что, попав на фронт осенью кровавого 1942 года, он начал воевать в подразделении батальонных 82-мм минометов, расчет которых располагался в 100 метрах от переднего края. Ему повезло выжить, отвоевав целый год, хотя средняя продолжительность жизни пехотинца составляла от двух недель в наступлении до месяца в обороне. Он участвовал в таких ключевых операциях Красной Армии, как «Уран», «Кольцо», «Румянцев», Курской оборонительной, пройдя путь от минометчика до комсорга батальона и от Сталинграда до Днепра. Ему повезло, что, получив тяжелое ранение, он был быстро эвакуирован с поля боя, а высокопрофессиональные врачи спасли ему ногу. Эта книга — настоящая «окопная правда» Великой Отечественной, потрясающие мемуары фронтовика о людях, деливших с ним радости побед и горечь поражений, об испытаниях, выпавших на их долю, о тяжелом и кровавом солдатском труде.

- ОТ СТАЛИНГАДА ДО ДНЕПРА
  - ○
  - ○ Мансур Абдулин. От Сталинграда до Днепра
    - ■
    - ■ «Страшно было на том поле…»
    - ■ Ни шагу назад!
    - ■ Окоп — огневая позиция
    - ■ Холодно
    - ■ Набираем силы
    - ■ Танки
    - ■ Комсомольцы, вперед!
    - ■ Двум смертям не бывать!
    - ■ Я ранен
    - ■ Эпилог
  - ○ Алексей Исаев. Советская пехота в бою. Мансур Абдулин и его подразделение
  - ○ Алексей Исаев. Сталинград, Курск и Днепр — символы побед Красной армии
  - ○ Иллюстрации

ОТ СТАЛИНГАДА ДО ДНЕПРА
Пехотинец
Год на фронте

МАНСУР АБДУЛИН

ОТ СТАЛИНГРАДА ДО ДНЕПРА

ПЕХОТИНЕЦ. ГОД НА ФРОНТЕ

Москва
«ЯУЗА»
«ЭКСМО»
2010

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА:

КРАСНАЯ АРМИЯ ВСЕХ СИЛЬНЕЙ

Мансур Абдулин. От Сталинграда до Днепра

Война, фронт — это выстрелы. Из минометов, пулеметов, автоматов, артиллерийских орудий… Свой первый боевой выстрел на войне я произвел 6 ноября 1942 года на Юго-Западном фронте из самозарядной винтовки «СВТ».

Было так. Накануне у нас поротно прошли, как тогда говорили, «торжественные собрания, посвященные 25-летию нашей Советской страны». Мы дали клятву выполнить приказ Родины «Ни шагу назад!» и двинулись через Дон на правый берег. Дон был тихим, переправились мы благополучно и почти бегом углубились в балку на высоком правом берегу.

«Под ноги!» — то и дело слышится команда, для нас, минометчиков, полная конкретного жизненного смысла. Минометчики навьючены лафетами, стволами, плитами. Просто упади, споткнись — и по инерции, если движение быстрое, железо расплющит твой затылок.

В дальнейшем мне не раз приходилось видеть, как тяжелые вьюки добивали упавшего легкораненого бойца. Мы снимали с убитого товарища вьюк и мчались дальше. Я как комсорг роты, а затем и батальона следил, чтобы у погибшего комсомольца забрали все документы, а особенно его комсомольский билет.

Перепрыгиваем через какие-то мешки или кочки, в темноте не видно, что у нас под ногами. Угнетает смрадный запах. Бегом от него, вперед, вперед! В небе повисла фиолетовая ракета и осветила… лица трупов. Лежали тут и немцы, и наши…

Ракеты зачастили. Украдкой поглядываю на товарищей: видят они? Да, видят. Но лица у всех невозмутимые, никто не охнул, не выматерился даже: мол, война, она и есть война, дело привычное. А чего там привычное! Мне самому только-только исполнилось девятнадцать, и другим, я знал, немногим больше, а опыт у всех одинаковый — училищные стрельбы в Ташкентском пехотном по ускоренной программе. Прыгаю через трупы и краем сознания успеваю удивиться: как же быстро человек приспосабливается к тому, что в воображении порой и уместиться не может. И в том же краешке сознания нашлось место странному в этой обстановке чувству — я был удовлетворен собой. Если бы и на меня кто взглянул, как я поглядываю на лица товарищей, он бы и на моем лице не прочел ничего, кроме общего для всех выражения сосредоточенности. Оказаться «как все», то есть не хуже других, на войне — это вроде как получить подтверждение

своей полноценности. Большое дело для самоуважения. Как я ни был потрясен картиной, открывшейся в фиолетовом свете ракеты, — вот они, внутренности войны, реальная обстановка, из которой шлют извещения: «Погиб смертью храбрых…», — я, как и все, делал то, что нужно, старался не споткнуться, не выпрямиться на свист пули… Последние метры бежим внаклон чуть не до земли — балка стала мелеть, и пули свистят совсем низко, — и вот я спрыгиваю в траншею исправным солдатом: жив, нигде не трет, не жмет, вещмешок и личное оружие при мне, немного отдышаться — и готов стрелять, как только прикажут.

— Что так долго?.. — несется нам навстречу с хриплым матерком, и фронтовичков выдувает из траншеи как ветром. Они призраками — вместе со своими минометами, «максимами» — прошмыгивают мимо нас в балку, из которой мы пришли.

Не знаю уж, какой встречи я ожидал. Не собрания, конечно, как на проводах с того берега. Но столь молниеносное исчезновение прежних обитателей траншеи кольнуло. Наверное, я рассчитывал, что «старички» хоть немного побудут с нами, покажут, что нам тут делать, как воевать.

— Чудак! — смеется мой командир расчета Суворов Павел Георгиевич. — Им тоже надо затемно Дон перемахнуть. Да успеть подальше уйти в наш тыл, чтоб фрицы не заметили.

Добродушный этот смешок Суворова окончательно убедил: все, с этой минуты, как мы сюда спрыгнули, мы — фронтовики. И как бы ни сложилась ситуация в каждую следующую минуту, никто уже не вспомнит и не учтет, что мы всего лишь бывшие курсанты пехотного училища.

Удивительно, как работает в человеке инстинкт самосохранения. Ведь небось каждый переживал состояние, подобное моему, а уже слышалось от связистов: «Я Затвор, как меня слышите, прием». Батальонные артиллеристы волокли к пушкам ящики со снарядами, на бруствере выстроились «максимы», которые пулеметчики принесли с собой. В нашей роте минометы тоже в полной боевой, и мы с Фуатом Худайбергеновым — я в расчете Суворова наводчик, а Фуат заряжающий — пристроили лотки с минами возле своего миномета. Уж раз война, надо каждоминутно быть ее исправной единицей, это первое дело.

Ну вот, руки сделали необходимое, можно оглядеться. Траншеи несвежие, бока порядком обтерты.

— Значит, давно тут стоим, — поделился соображением Макаров Николай, из соседнего расчета; все боевые расчеты в нашей роте сформированы с училища.

— Или у немцев отбили, — возражает Козлов Виктор.

Голоса у обоих спокойные, будто век воевали.

В небо то и дело, освещая дно траншеи, взлетают немецкие ракеты, не умолкает пулемет.

— Нашей ночной атаки боятся, — усмехнулся Конский Иван, и в глазах его, на мгновение блеснувших в мертвенном свете, я поймал окончательно успокоившую меня уверенность.

Бутейко, наш командир роты, старший лейтенант, уже отправил кого-то дежурить на наблюдательный пункт, а меня предупредил, чтоб готов был сменить дежурного на рассвете.

— Что, Мансур, не жарко теперь тебе? — по-татарски спрашивает подошедший вместе с комроты его заместитель по политчасти младший политрук Хисматуллин Фаткулла, в мирной жизни учитель истории, дотошно каждого из нас расспрашивавший, где кто родился да кем хотел стать, — для будущей, как он говорил, книги.

— Спрашиваю, не жарко ему теперь? — переводит он для Бутейко и всех.

Ну, все и рады погоготать. Дело в том, что я, сибиряк по рождению, на училищных стрельбах пару раз хлопался в обморок от ташкентской жары… Боялся даже, что спишут…

Стали вспоминать, как в училище гимнастерки от соли и пота отстирывали каждый день, и расползались они у нас каждые две недели… Как мечтали: «Скорей бы на фронт!»

— Вот мы и на фронте, — подытожил Бутейко, взглянув на часы. — Теперь не забывайте, чему вас учил.

А учил нас боевой и опытный комроты — он был на войне с первых дней, — чтобы, помимо прочего, мы как можно чаще дополнительными зарядами прочищали стволы минометов от пороховых остатков. По засоренному стволу мина продвигается медленно, и следующая при ведении беглого огня, посланная до выстрела предыдущей, может взорваться в стволе…

— Отдыхайте пока, — велел Бутейко, и они с Хисматуллиным, пригибаясь, ушли дальше по траншее.

Серега Лопунов немедленно потребовал у Фуата иголку с ниткой, а Кожевников Виктор — листок бумаги и карандаш… Надо сказать, что в вещмешке нашего с Суворовым заряжающего всегда было все, что требуется человеку: иголки, нитки, шнурки, пуговицы, ножнички, бритва, вазелин, мыло, сапожный крем, щетка, йод, бинты — большой аккуратист Фуат. И никогда не сидел без дела. Вот и сейчас, пока мы занимались воспоминаниями, он успел пришить распоровшуюся подкладку своей шинели и уже осматривал покосившийся каблук на ботинке Николая Макарова. И портным он был отличным, и сапожником, и поваром, и, если приходилось, кузнецом и плотником. А хлеб,

сахар или там махорку в нашем взводе никогда не делили по методу, когда один, взяв пайку, спрашивает: «Кому?», а другой, отвернувшись, отвечает: «Иванову, Петрову, Сидорову…» У нас Фуату доверяли разделить, и потом каждый брал с плащ-палатки любую из сорока паек, уверенный, что все они одинаковы. Фамилия Худайбергенов по-русски означает «божий дар». По отцу Фуат был татарин, а по матери — узбек. Сильный, крупный парень — мой одногодок. Неразговорчивый. Но когда приглашал всю роту на плов после Победы — откуда только бралось красноречие! Все были вынуждены клясться, что приедут к нему в Ташкент. Мне клясться было сподручней, чем другим: незадолго до войны отец перевез нашу семью из Сибири на рудник Саргардон в Средней Азии — домой все равно через Ташкент ехать…

Про все про это я, по примеру большинства товарищей, нацарапал домой письмо, надписал адрес: «Южно-Казахстанская область, Бостандыкский район, кишлак Бричмулла, Абдулину Гизатулле», и обратный: «Полевая почта 1034». (Через сорок с лишним лет, когда я возьмусь записать на бумаге пережитое, сотрудники архива Министерства обороны СССР, заглянув в дивизионные — 293-й дивизии — документы, с некоторым удивлением подтвердят: да, почта в наш 1034-й стрелковый полк — до преобразования его в феврале 1943 года в 193-й гвардейский — шла под номером полка.)

Бросил треугольник в общую кучку, и вот тут — до дежурства оставалась еще пара часов — от нечего, как говорится, делать одолела меня дума, имя которой — страх. Вон Иван Конский спит и небось во сне свою родную Смоленщину видит, а в моей зрительной памяти назойливо держится картинка, увиденная в балке: фиолетовые лица трупов. С трудом удалось вытеснить увиденное воспоминаниями детства.

Я родился в шахтерской семье 14 сентября 1928 года в девственной и дремучей тайге, в таштагольском поселении Сухой, в котором проживали с незапамятных времен вместе с коренными таштагольцами беглые и не беглые татары, эстонцы, венгры, немцы, русские староверы и киржаки, а также и казаки — пугачевцы, у которых у каждого была своя вера, свой бог или идолоподобный божок. Например, у наших уважаемых русских соседей по улице были свои боги: у одних «дырка» в углу дома в горнице, а у других стоит во дворе молодая лиственница, обвешанная разным тряпьем, которую они считают «священной» и на нее молятся. «Через ту дырку люди общаются с Высшей Силой»…

Люди, имея своих богов и с разными своими уставами и

правилами поведения, жили в мире и согласии. Объединяло их и общее суеверие, которое заключалось в том, что над всеми ими есть Высшая Сила, жестоко карающая «худых» людей. Местные поселенцы независимо от национальности и разной веры роднились между собой и таким мистическим понятием — «хозяин» тайги, реки, горы, озера, болота, шахты, охраняющий свои владения и богатства. Кто посмеет сотворить «худое» дело, ОН такого человека непременно «изничтожит, не оставив и следа»…

Мои родители были «приезжими со стороны» и свободными от всякой религии «партейцами», но пользовались среди местных поселенцев авторитетом, как единственные грамотные люди. Отец работал «штейгером» в шахте и как «партейный» был слушателем «рабфака», а мать, хоть и была малограмотной, учила местных людей хотя бы расписываться. Я рос среди местных сверстников и взрослых и сформировался среди них как личность. Поскольку все окружающие меня люди были очень разными — были среди нас «худые», а также и «добрые», я впитал в себя буквально все человеческие качества — как положительные, так и отрицательные.

Отделять плохое от хорошего помогала мне врожденная способность к самоконтролю, благодаря которой я, независимо от моего желания, действовал безошибочно в любых экстремальных и не экстремальных ситуациях. Я только теперь, когда оказался недалеко от финиша своей жизни, понял, что «самоконтроль» и есть та самая Сверхъестественная Сила Высшего Разума.

Я родился, когда российское самодержавие развалилось, а потом остатки ее военных сил были разгромлены в Гражданской братоубийственной войне, а новая Советская власть только что родилась и переживала затяжной и хронический голод, сопровождающийся страшными болезнями — тифом, холерой, чахоткой, черной оспой, когда покойников некому было хоронить, когда бабы хоронили своих детей без слез и не скрывая свою радость от того, что избавляются от «лишних ртов», когда многие взрослые и даже дети всякими способами лишали себя жизни. Я нередко видел, как от постоянного голода моя мать от безысходности впадала в истерику и, обезумев, кричала: «Удавлюсь! Убегу от вас (это от меня, младшего братишки и отца) куда-нибудь!»…

Она не от хорошей жизни, не стесняясь меня и братишки, завидовала своим подружкам, которые уже похоронили всех своих детей. Я, несмотря на то что был трех-четырехлетним, понимал ее и не обижался. Я вымаливал у Высшей Силы, о которой я уже знал, чтобы Он дал моим родителям здоровья и

чтобы «хозяин» шахты уберег моего отца под землей.

А оттого, что я был «дармоедом», мне было стыдно и я старался терпеть болезненный голод и не плакать. Как-то наш «фершап», осмотрев и прослушав меня, сказал моей мамке: «Ваш сынок ничем не болеет, но он страдает малокровием и поэтому слабый, а лекарство для него — хорошее питание!» С тех пор мне стало страшно порезать палец, Я пугался не на шутку, думая, что умру от потери последней капли крови, а мамка обрадуется, избавившись от «лишнего рта»…

К моим родителям часто приходили «на огонек» поселенцы, как к единственным грамотным людям — «партейцам», со своими наболевшими проблемами. «Скажи-ка, таварищ Абдулин, как партеец, прямо! Есть бог, аль нету иво?!» Затаив дыхание, дожидаются ответа. «Бога, к моему сожалению, нет. Но так как людям всегда требовался сильный, всезнающий и всевидящий, справедливый и карающий благодетель, они его придумали, чтобы на земле всем было хорошо». После таких слов у слушателей глаза чуть не выпрыгивают из орбит. Но отец тут же их успокаивает: «Но над человечеством вместо бога есть Высшая Сила Разума! Она нами правит и не даст своему народу заблудиться и погибнуть!» Это действовало на всех успокоительно и давало надежду на хорошее будущее. Люди согласно трясли своими бородищами: «Так-то можно ишшо жить, а совсем без веры не можно будет». И, низко откланиваясь, задом выходили из избы…

С ранних дошкольных лет я любил и до сих пор люблю рисовать, пилить и строгать, придумывать и делать разные забавные игрушки, а в школьные годы я ловко мастерил деревянные лыжи и коньки, замораживал «коровяк» для катания с горки. Мои скворечники-теремочки очень нравились скворцам, которые устраивали свои петушиные драки за владение…

Я активно участвовал в авиамодельном и планерном кружках. В свои двенадцать лет я имел значки «БГТО», «Ворошиловский стрелок» и с ружьем бегал в тайгу «на рябчиков». Я мечтал стать художником, артистом, горным штейгером, фотографом, летчиком, шофером и красным командиром! Однажды я изготовил деревянный фотоаппарат, но у меня не было для объектива хотя бы от очков стекла, и я прожег раскаленным шилом круглое отверстие и, изготовив при помощи золы матовое стекло, случайно обнаружил, что на определенном расстоянии от «объектива» на нем довольно ясно появилось изображение моего волкодава-кобеля, который случайно подвернулся перед моим фотоаппаратом, но вверх ногами! Население прииска, узнав про мою «аказию», взволнованно и с восторгом то и дело меня

славили «до небес»: «Мансурка-то Абдулин, энтот зимогор, однако молодец! Придумал антиресну аказию, катора всех баб и девок переварачивает вверх ногами, а юбки-то у них спадывают на головы! А тады у их можна разглядывать! Штанов-то у них нету-ти?! Ха-ха!..» А девки и бабы, завидев меня с «аказией» в руках, в панике и с диким визгом мигом исчезают кто куда. Но однажды они напали на меня из засады, свалили на землю, «аказию» отобрали, разбили мне нос и чуть было не оторвали мне уши…

Однажды я, как самый талантливый и постоянный участник художественной самодеятельности, получил главную роль белогвардейского офицера в каком-то спектакле, который изуверски раскаленными кузнечными щипцами пытает на допросах наших пленных красноармейцев — коммунистов, а затем расстреливает их… Спектакль был сорван потому, что наши пацаны-зрители, сорвавшись со своих мест, ворвались на сцену и с ревом «Бей беляка!» жестоко избили меня, как «всамделишного»… Тогда мне отбили не только печенку, но и охоту быть артистом… А за то, что я хорошо рисовал на дефицитных тетрадках, отец «разрисовывал» своим сыромятным ремнем мою голую задницу так, что я целую неделю лежал на полатях на животе без штанов, демонстрируя ее тараканам…

Мое детство прошло на Миасских приисках. Я, как и все наши пацаны и даже девчонки, все лето и «от зари до зари» промышлял золотишко, промывая глинистые комья с песком в обыкновенном железном тазике или в старательском ковше. За добытое золото я каждый год обновлял свою обувку и одежину. Так я заработал себе сверкающий «лисапед», патефон и ружье.

В 1940 году за возможность получить хлебную карточку я бросил школу и пошел на работу в шахту коногоном — откатчиком вагонеток. А 22 июня 1941 года грянула война. Как шахтер-горняк я был забронирован от мобилизации, но добился отправки на фронт. Четверо друзей — Коняев Коля, Ван-шин Иван, Карпов Виктор и я, мы явились в Бостандыкский райвоенкомат, доказывая военкому, что не такие уж мы опытные шахтеры, чтобы нас бронировать от фронта. «Броня Комитета Обороны! — твердит военком. — Не могу и не имею права!» Пришлось — смешно вспомнить — пригрозить, что взломаем ночью магазин, чтобы отправили нас хоть в штрафной батальон, а на суде дадим показания, что майор Галкин не хотел отправить на фронт по-хорошему… Смог-таки майор Галкин: куда-то позвонил, с кем-то согласовал — и вот мы голышом перед придирчивой комиссией, набирающей курсантов в авиационное училище. Приняли только двоих из нас — моего самого близкого

дружка Коняева Колю и Виктора Карпова. Мы с Ваншиным — снова в военкомат, и в тот же день поехали: Иван — в Чирчикское танковое училище, а я — в Ташкентское пехотное имени В. И. Ленина… Конечно, я им завидовал, да только уцелеть в той войне удалось только мне — пехотинцу.

После успешного окончания пехотного училища им. В.И. Ленина меня, отличника, как дома в шахте забронировали от отправки на фронт, оставив на преподавательскую должность. Кое-кто из друзей завидовал мне, а многие ехидничали: «Он очень хотел в действующую армию, но теперь посмотрим…» Между тем я пошел на авантюру — уговорил другого отличника по фамилии Такцер, чтобы он сейчас же съел обмылок хозяйственного мыла, чтобы оказаться в медсанчасти и откосить от фронта. Его прошиб понос, а я явился к комиссару училища с предложением: «Оставьте себе Такцера, а меня включите в список откомандированных в действующую армию!» Все мои однокашники обрадовались мне как лучшему запевале, и я был назначен ответственным за нашу группу численностью 700 новоиспеченных младших лейтенантов.

По прибытию в дивизию всех моих товарищей распределили по полкам, а меня оставили в штабе, в резерве. Но я не хотел отставать от моих друзей и напрасно требовал распределения в любой полк «В армии нет «не хочу», «не могу», «не умею» — таков был ответ. Во время моего очередного дежурства по штабу меня вызвал комдив. Разрешив не докладываться, он усадил меня слишком любезно и даже пододвинул свою пачку папирос «Казбек»:

— Кури.

Я давно заметил, как он присматривается ко мне, словно цыган на конном базаре на облюбованного коня. Я не посмел закурить перед генералом и настороженно приготовился к самому худшему, так как я уже был в курсе, что он подыскивает себе личного адъютанта, а он, как всегда, «под мухой», и я еле сдерживаюсь, чтоб не сделать ему замечание. Он уверенным хозяйским тоном, еле шевеля опухшим языком, бормочет, упершись в меня своими бычьими глазами:

— Сегодня я решил подписать приказ о твоем назначении моим личным адъютантом. Твоим прошлым и характеристикой я доволен и хочу услышать твое согласие.

— Я прошу вас отправить меня в полк 1034, где мои друзья.

— Не ожидал, не ожидал я, чтобы ты отказался. Неужели ты не понимаешь, что на «передке» нет романтики, а там мясорубка! Соглашайся! Не пожалеешь! Не забуду о наградах и об очередном звании… Ну, подумай хорошенько. Я тебя не обижу…

— Нет, товарищ генерал, я не умею чистить сапоги, а умею воевать. — Сказал как отрубил.

— Почему? — У него высоко взлетели лохматые с проседью брови и долго не опускались.

— Я поклялся друзьям воевать вместе.

— Да на твоем месте любой твой друг не отказался бы!

Так я оказался на «передке» вместе с моими однокашниками. Я обратился к полковому комиссару, чтобы он помог мне побыть рядовым, так как я стесняюсь командовать солдатами, по возрасту годными мне в отцы, объяснив, что хочу сначала «нанюхаться пороху». Моя просьба была удовлетворена — лейтенантов хватало. Знал ли я, что иду навстречу смерти? Знал. Воображение еще не представляло конкретной картинки, увиденной на дне балки в фиолетовом свете ракеты… Но непостижимое существо человек! Окажись я сию минуту за тысячи километров от этой балки в моем цветущем кишлаке Бричмулла на Чаткале — снова пойду-побегу в военкомат стучать кулаками, чтоб отправили сюда. Вот ведь штука: и умирать не хочется, и жить невмоготу, если нечиста совесть. Истерзала меня в шахте мысль: а что я стану говорить, когда кончится война? Что в тылу тоже были нужны кадры, особенно на шахтах оборонного значения? Нужны. Да каждому не объяснишь, всем не докажешь. Девчонок и тех берут на фронт… Но как не хочется погибнуть! Как невыносимо страшно стать трупом в балке, освещаемой фиолетовым светом ракеты…

На этой мысли меня оборвал Суворов, которому, видимо, тоже не спалось.

— Что, Мансур? — спросил он. — Трусишь? Как под дых ударило. Да ладно, не стесняйся, — подмигнул он. — Все трусят.

Я честно признался, что ничего подобного за ребятами не заметил.

— Дык виду не показывают, — добродушно объяснил Суворов и опять мне подмигнул заговорщически. — И ты не показывай. Держи хвост пистолетом!

Мне стало интересно: Суворов лет на семь меня старше, до войны служил в кадровой, в Первом Московском полку, и воевал с первых дней, даже орден Красной Звезды уже был у него, и я спросил: неужели и он трусит?!

— А по-твоему, я жить не хочу? — Он улыбнулся. — Да что поделаешь, Мансурчик, «мы их не звали, а они приперлися» (слова популярной песни), пространство им подавай! Наше с тобой. Сверхчеловеки они, понимаешь? Мы им годимся разве что сапоги чистить. Как тебе это? Один разговор с такими — драка. Масштабная драка. Не в стороне же стоять… Уж тут боись, не

боись…

Рассветало. Немецкие пулеметчики притихли. И ракет не стало — ночь кончилась.

— Ну, пойдем, провожу тебя, — сказал Суворов.

Ячейка наблюдателя была хорошо замаскирована. Суворов поглядел в перископ, подвинулся, уступая мне место, и какое-то время стоял так, задумавшись.

— Метров триста до них, — сказал он. — И солнце им в глаза.

Потом пожелал ни пуха ни пера и ушел.

Солнце им в глаза. Значит, мне смело можно высматривать расположение противника. Я установил на своей самозарядной винтовке постоянный прицел, загнал патрон в ствол, приложился к прикладу и примерился. Все готово. Переднего края фашистов как будто и нет совсем. Понимаю, что они лишний раз не хотят себя обнаруживать, поэтому я их и не вижу.

Наблюдаю терпеливо, знаю, что они здесь, а в голове мелькают мысли разные. Некстати вспомнилась тайга в далеком детстве, свежий затес на лиственнице — мишень, березовый сучок с развилкой, вбитый в землю, установленное на нем тяжелое охотничье ружье — меня, восьми летнего, отец учит стрелять. «Подходи и целься вот так!» Отец показал мне, как целиться, и я, растопырившись, вцепился в ружье. Мушка и цель совместились сразу. Торопясь — «в тайге надо быстро стрелять, рябчик ждать не будет, улетит!», нажимаю на курок. Но выстрела нет. Я подумал, что сил у моего пальца не хватает. Как бы отец не заметил этого да не отложил обучение на потом, когда подрасту! Жму на неподатливый курок с таким усердием, что надуваюсь, как бычий пузырь. Отец поторапливает ласково: «Хватит целиться, стреляй!» Жму, жму, сейчас лопну от натуги… Неожиданно прозвучал оглушительный опозоривший меня звук, напоминающий треск, с которым рвется брезент, из которого шьют шахтерам спецовки. Это рассмешило отца так, что он даже присел, и я увидел все до единого его крепкие и белые зубы, так сильно он закинул назад голову, хохоча… Потом я узнал от него, что жал на скобу, а не на курок, и выстрелы потом получались такие отличные, что не успевал отец заряжать патроны. Радовался успеху я, а больше отец…

Волновало ли меня, что не за рябчиком теперь охочусь, что собираюсь убить человека? Сказать по правде, думал я совсем о другом. Вспомнилось, как две недели назад, после того как наша дивизия торопливо погрузилась в эшелоны (1034-й полк грузился на небольшой станции Колтубанка) и взяла направление на фронт, в пути наш эшелон попал под бомбежку. Машинист наш то

резко тормозил, то мчал вперед; бомбы в состав не попали, но, пройдя на бреющем полете, немецкие самолеты довольно метко «прошили» вагоны из пулеметов. Дым тола и угля, запах горелой земли, кровь убитых и раненых, стоны… Все это я увидел, услышал, вдохнул, когда до фронта еще были сотни километров. Многие мои товарищи погибли, не успев убить ни одного гитлеровца. Неужели и я так? Даром? Буду убит? Что же это такое?! Для этого я, что ли, с такими трудностями шел к своей цели — попасть на фронт, — чтобы умереть, не увидев своего врага?

Сколько ни всматриваюсь — ровная степь до самого горизонта. Ни звука, ни движения. И вдруг что-то шевельнулось впереди. Сердце мое заколотилось. Свою винтовку я пристрелял хорошо и в ста метрах могу продырявить консервную банку… Сразу стало жарковато… По мере приближения цель увеличивается. Немцы. Идут по траншее. Сколько их? Несут по охапке соломы на ремнях через плечо. Вот повернули, и сразу стало видно, что их трое. Теперь они идут по своей траншее вдоль переднего края. Надо скорей стрелять! Я решил целиться в среднего. Но что это? Не могу совместить прорезь, мушку и цель. Найду цель и мушку — прорезь теряю. Найду прорезь — теряю мушку. Вспотел, глаза потом заливает, винтовка ходуном в руках… Убедившись уже, что будет промах, нажимаю на курок. Тишину нарушил тупой звук выстрела. Немцы исчезли разом, а я медленно, как смертельно раненный, сползаю на дно ячейки… Как же я возненавидел себя в ту минуту! Размазня! Упустил такую возможность! Понял, что причина моего страха, трусости даже — в угрозе моей дармовой для фашистов смерти. Хотя бы одного из них успеть убить! Чтобы квитым быть заранее. От этой-то мысли, от этой-то спешки и затрясло всего, едва увидел их на расстоянии выстрела. Эх, растяпа! Все это, конечно, в считаные секунды, пока сползаю на дно, проносится в моей голове… С почти равнодушным лицом встаю и вновь припадаю к прикладу моей винтовки. Ну где там мои фрицы? Скрылись, конечно. Да нет, еще бегут, согнувшись ниже и с большими интервалами, по своей траншее. Вот сейчас добегут до места и скроются. «Ну, теперь-то и вовсе не попасть», — мельком подумалось. Прорезь, мушка, цель — странное дело, никакой «пляски», все на месте. «По движущейся цели с опережением…» Делаю опережение на пару сантиметров перед средним фрицем и плавно нажимаю курок.

Передний фриц, совсем согнувшись — только тючок с сеном мелькает, — продолжает бежать, а второй остановился, выпрямился во весь рост, голова его неестественно дернулась

назад, и он, винтом крутнувшись вокруг себя, нырнул вниз, как тряпочный. За третьим я просто не уследил, завороженный медленным поворотом на месте второго. «Никто из наших не поверит, что я убил фашиста!» — каюсь, это первое, что пронеслось в голове. Только что осыпавший себя самыми бранными эпитетами, теперь я преисполнен непомерной гордости: «Эх, кабы видел кто из наших!»

И вдруг слышу:

— Молодец, Абдулин! Молодец! Ты, кажется, комсорг в своей роте?

Смотрю, а это сам комиссар батальона капитан Четкасов. Опустил на грудь бинокль, улыбается:

— Ты в батальоне первым открыл боевой счет!

Оказывается, он услышал, что кто-то стреляет, подполз и увидел, как я со второй попытки уложил немца.

Часом позже от Четкасова узнал, что и в полку я первым открыл боевой счет и представлен за это к медали «За отвагу».

Сказать откровенно, потом доводилось мне совершать поступки более значительные и в более сложных условиях, чем этот мой первый уничтоженный гитлеровец. И поступки эти не были отмечены наградами. Но все относительно в бухгалтерии войны. Надо учитывать, что полк наш почти сплошь был сформирован из необстрелянных курсантов, только что прибыл на фронт, и чрезвычайно важно было скорей адаптировать нас к условиям передовой. В ротах политруки призвали: каждому солдату в честь годовщины революции уничтожить не менее одного гитлеровца.

Комиссар подарил мне блокнот, на первом листке которого своей рукой написал: «6 ноября 1942 года на Юго-Западном фронте в районе станицы Клетская курсант-ленинец Ташкентского пехотного училища Абдулин Мансур Гизатулович первым в полку 1034 открыл боевой счет, уничтожив гитлеровца в честь 25-летия Великого Октября. Комиссар батальона к-н Четкасов».

В разговоре выяснилось, что он чуваш, что дома у него остались малые дети, семья из пяти человек. Рассказал мне, что оборону мы держим недалеко от Вешенской — родной станицы Михаила Шолохова, а севернее от нас — знаменитое Куликово поле.

Хороший был у нас комиссар. Любил песню: «Комиссара каждый знает, он не молод и не стар…»

Вскоре меня приняли в ряды ВКП(б) и выбрали парторгом роты.

Обо всем об этом я написал второе письмо своему отцу —

старому большевику. Пусть гордится своим сыном!

Написал, что одного фашиста — за себя — я уже уничтожил, «чтоб не обидно было в случае чего».

«Страшно было на том поле…»

В тылу у нас выше по течению Дона — Куликово поле, на котором почти шесть веков назад славными предками русичей была разбита орда Мамая. А впереди — за нейтральной полосой в триста метров — гигантская орда Гитлера, которую предстоит разбить нам.

14 ноября 1942 года полк получил боевой приказ — прорвать на нашем участке оборону фашистов и занять их оборонительные сооружения. Фактически приказ означал разведку боем, но сказать, что мы знали об этом в тот день, — значит пойти против истины: солдату не дано знать оперативных планов командования.

Практически без артиллерийской поддержки батальоны штурмовали проволочные заграждения, противопехотную паутину. Чтобы сдержать натиск нашего полка, немцы были вынуждены открыть огонь из всех видов огневых средств, обнаружить порядок их расположения, что, собственно, и требовалось нашему командованию, уточнявшему детали контрнаступления. Прорвать оборону противника мы не смогли, но свою боевую задачу, потеряв при этом большую часть личного состава и сократив свой участок переднего края до фактически одного батальона, мы выполнили.

Картину того первого боя сознание смогло охватить лишь после его окончания, когда в ночь с 14 на 15 ноября в числе немногих оставшихся в живых я вышел в боевое охранение к нейтральной полосе.

С вечера моросил мелкий дождь, потом резко подморозило, и под ногами нашими в темноте тонко звенела стеклянная глазурь. А потом взошла полная луна…

Это было похоже на многотысячную скульптурную композицию застывших в ледяном панцире фигур солдат в натуральную величину — лежащих навзничь, сгорбившихся, сидящих, скрючившихся, со вскинутыми руками — призывающими не ослаблять атаки… Обледенелые лица с широко открытыми глазами и кричащими ртами… Груды тел на колючей проволоке, которые придавили ее к земле, приготовив проход к немецким траншеям. Душа сопротивлялась, не позволяла принять обледенелую композицию за реальность. Верилось, что кто-то включит сейчас камеру и застывший на мгновение кадр оживет…

Всего два месяца назад мы сдавали гос-экзамены по сокращенной (шесть месяцев вместо трех лет) программе. Вот-вот должны получить кубари младших лейтенантов… Ясно, до

подробностей, припомнился сентябрьский вечер, когда весь наш личный состав был построен по боевой тревоге и начальник училища зачитал приказ Комитета Обороны о немедленном отправлении курсантской бригады в действующую армию. Ночью складской смазкой смазали оружие и сдали его, утром погрузились в эшелоны, и вот мы мчимся от Ташкента на северо-запад — навстречу своей судьбе. Смех, песни всю дорогу. Двое суток эшелон шел без остановок до станции назначения, где нас ждало начальство 293-й стрелковой дивизии, только что прибывшее с фронта за пополнением…

Большинство моих товарищей-курсантов погибло в этом первом бою ради общей победы нашего контрнаступления под Сталинградом. У всех ли у них Хисматуллин успел узнать, кем они хотели стать?.. Он и сам погиб в этом бою, наш боевой политрук…

Повалил снег. Густая пелена спрятала чудовищную картину боя от наших глаз. Гигантское покрывало, белое и тяжелое, как саван, опустилось к утру на землю. Уже днем в степи, насколько хватал глаз, все было ровно, бело и тихо — так, словно тут вечно царили только покой и первозданная чистота.

Тихо было до 19 ноября.

Утром 19 ноября 1942 года рухнули глыбами замерзшие борта траншей. Земля под нашими ногами качнулась, как гигантский пласт сырой резины. Воздух стал вдруг плотным и упругим, прыгающим вверх-вниз от невидимых ударов. Им не дышать — от него бы спасти легкие и барабанные перепонки, которые он хочет разорвать. Со стороны немецких траншей земля вздыбилась и повисла неподвижной черной ширмой, грохот орудий слился в сплошной грозный гул — так наша артиллерия дала сигнал к долгожданному контрнаступлению под Сталинградом.

Хочется кричать «уррра-а!». Но вместо этого из глоток наших несется «е-е-е…». Звук вибрирует! И смешно слышать нам от себя и друг от друга это жалобное блеяние. Помолчим уж, пока «говорит» артиллерия! Черная ширма вздыбившейся земли плещется над передним краем фашистов, не опускаясь.

«Уж, наверное, хватит, — скаредно подумал я. — Лишние снаряды тратят наши артиллеристы, можно бы и сэкономить… Но все же лучше перестараться, чем недостараться…»

Нарастающий гул артподготовки внезапно оборвался. В ту же минуту из-под снега позади нас вырвались сотни танков и пошли вперед через наши траншеи. Пропустив их все над головой, мы выпрыгнули наверх (у командира нашего расчета Суворова прицел, у меня ствол, у Фуата Худайбергенова за спиной лафет,

четвертый наш номер волочит плиту, а пятый — лотки с минами) и тоже побежали — прямо в медленно оседающую стену черной пыли.

Вот уже прошли фашистскую линию обороны, но ничего не видим, кроме дымящейся земли. Ни одной живой души! Нет, не зря курсанты-ленинцы нашего полка пять дней назад сложили здесь свои головы: узнав принцип расположения огневых средств противника, артиллерия сегодня била точно по всей линии фронта, и контрнаступление развивалось успешно. Даже вражеских трупов не видать — похоронили мы их тут всех мощной артподготовкой.

* * *

Помню румын, сдавшихся нам без боя.

— Антонеску капут! Сталин гут! Рус камрад гут!

Наяривают в губные гармошки нашу «Катюшу».

А кони у них — загляденье. Красивые, ухоженные. Сбруя вся кожаная, скрипит. Дуг нет, хомутов нет. Только широкие толстые лямки. Повозки крыты по-цыгански. Среди них очень богатые, на резиновом ходу — целые вагоны-люкс с окнами и занавесками. Наша стрелковая дивизия в один момент превратилась в кавалерийскую — все сели на коней!.. Но через сутки коней пришлось оставить.

Видели вы на войне раненого коня? Я видел. Это был конь, на котором я проскакал несколько километров и с которым вместе упал от близкого разрыва снаряда, перевернувшись раза три через голову. И вот он сидит, упираясь в землю передними ногами. Перебирает ими, как пританцовывает. Весь мокрый. Мускулы трясутся от напрасного усилия — еще не понимает, что уже не встать ему. Ноздри раздуты воронками и розовы от крови. Стонет как человек и смотрит на меня широко открытыми глазами, из которых катятся слезы. А я стою и не нахожу сил его пристрелить… Остановился кто-то из пожилых солдат и прекратил мучения раненого коня: вложил ему в ухо карабин и выстрелил… Вот пишу эти строки и плачу. От чувства нашей вины перед всем живым и таким гармоничным в природе. Что думал раненый, тяжело умирающий конь, глядя в мои глаза широко открытыми глазами? Что люди — противоестественная, уродующая природу сила? Да нет, понимать дано лишь самой этой силе. В ту предсмертную минуту от меня же, от человека, конь ждал спасения и помощи…

Артиллеристы наши сначала решили поменять своих

«монголок» на румынских битюков-тяжеловозов, но через сутки их выпрягли. И хорошо, что «монголки», которых было забраковали, не обиделись на своих ездовых и бежали, как преданные собаки, рядом. Маленькие ростом и лохматые, злые и кусачие, монгольские коньки-горбунки оказались очень выносливыми и хорошо служили нам всю войну. А румынских коней нам одного за другим пришлось оставлять в чистом поле. Хоть сытые и красивые, слишком они оказались нежными для войны.

* * *

В Калач-на-Дону ворвались наши танкисты одни. Мы, пехота, вошли в освобожденный ими город через сутки. Так что Калач мы не брали, только прошли через него.

Перед самым почти Калачом, сильно растянувшись по большаку — кто еще на коне, а кто пешком, — слышим вдруг:

— Воздух!..

Откуда быть авиации? День туманный. Но шум моторов слышу.

А потом и увидел: на высоте, кажется, не более ста метров летят пузатые немецкие бомбовозы. Летят вдоль дороги — по ходу нашего движения — и сыплют бомбы. Падая густой россыпью — того и гляди пришибет пузатая чурка одним своим весом — и ударяясь о землю, эти бомбы не сразу взрывались: за то время, пока они кувыркались и елозили по скользкому снегу, еще не взорвавшись, много можно было успеть сообразить и сделать. Сравнительно много.

…Какие-то секунды я вместе со всеми еще продолжаю убегать от падающих бомб по ходу движения, перепрыгиваю через тех, кто, повинуясь команде «Воздух!», упал ничком. Где огибаю, а где перепрыгиваю через чурки со смертоносной начинкой, только что упавшие впереди, — их уже с десяток в поле моего зрения. А позади уже пошли взрывы, вдогонку — сплошной грохот и земля сверху. Пока не догадываюсь, что надо резко изменить курс на девяносто градусов — в сторону от дороги!.. Сворачиваю. Но и по этому курсу впереди меня кувыркается в кювет огромная дура. Мне уже не обогнуть ее, потому что лечу я как пуля. «Давно она упала? — спрашиваю себя. — Успею?!» Уже взлетел над ней и злюсь, что медленно лечу, словно магнитом она меня держит над собой… Но вот уже опять бегу, а спина словно чувствует: еще с полминуты можешь бежать, но уж потом падай и влипай в землю… Что-то перелетело через меня и шмякнулось впереди —

перепрыгиваю… Через что я перепрыгиваю? Лошадиная голова, уздечка… Узнаю: конь нашего взводного… Падаю, наконец, влипаю. Обращаюсь в гибкий лист, как камбала… Вещмешок сорвало взрывом с моей спины и унесло куда-то… Оглушенный, поднимаюсь и забиваюсь в кашле и рвоте, выворачивающих меня наизнанку… Кругом черная земля, снега как не было, окровавленные клочья чьих-то рук, ног, запах горелой земли… Пронзительнейшая боль в ушах. А в голове картинка, которую зрение успело выхватить в минуту дикого пробега: пузатая чурка врезалась в спину коня и свалила его вместе с нашим комвзвода, который как раз хотел спрыгнуть с него — одна нога на земле, а другая еще в стремени… Дорога — кровавое месиво из тех, кто сразу упал ниц при команде «Воздух!»…

Мост через Дон, по которому прорвались в Калач наши танкисты, был уже разрушен фашистской авиацией. А лед еще тонкий и такой скользкий, гладкий как стекло, что шагу невозможно ступить. Тяжелыми стволами, лафетами, плитами мы вмиг его проломим, и все окажемся в ледяной воде, стоит только одному поскользнуться и упасть.

Раздается команда набрать песок в каски и в полы шинелей и сыпать перед собой, рассредоточившись на пять метров друг от друга. И вот цепь за цепью осторожно идем по тонкому сверкающему льду. Лед прогибается под ногами, того и гляди лопнет… За всю войну не припомню более тихой переправы, чем эта. На десятки метров в обе стороны слышу только посапывание да приглушенное ворчание: «Тише!», «Не топай как слон!», «Осторожней!». Сбоку от нас мост. Его, как муравьи, облепили саперы. Перед мостом столпотворение машин вперемежку с конными повозками, а подъезжают все новые и новые без конца и края. Артиллеристы не могут форсировать реку по такому зыбкому льду и тоже ждут, когда саперы восстановят разрушенный пролет.

А мы, пехота, уже на левом берегу. Где же наши танкисты? На всем отрезке пути от Дона до города — в траншеях, канавах, на дороге — трупы фашистов и вражеская техника. Здорово наши танкисты дали прикурить гитлеровцам!

Входим в Калач на рассвете. На пустынных улицах следы панического отступления врага. Валяется награбленное и брошенное посреди улиц барахло. Окна в домах распахнуты, кучи битого стекла. Видимо, гитлеровцы выпрыгивали на улицу прямо из окон. Вон свесился с подоконника убитый немец в длинной рубашке…

Где немцы? В восьми километрах от нас — крупная станица Илларионовская. Командир батальона Дудко Игнат

Севостьянович и комиссар Четкасов Александр Ильич вызвали нас с Майоровым — курсантом из Орского училища аэрофотосъемки: четыре часа нам сроку — добраться до Илларионовской, разведать, занята ли немцами, вернуться и доложить.

Майоров меня постарше на два-три года, физически сильный, роста среднего, но коренастый. Его назначили старшим. Чтобы сэкономить время, мы с ним решили, сколько можно будет, проехать на трофейных велосипедах.

Время двадцать часов. По дороге, утоптанной отступившими немцами, ехали быстро: знай крути педали… Вот миновали наш боевой дозор и нырнули в тревожную темень. Но где-то на половине пути дорога неожиданно раздвоилась, и мы спешились.

Не знаю, как Майорова, а меня в моем Ташкентском пехотном успели, хоть и по верхам, ознакомить с боевой тактикой ночной разведки. И когда Майоров принял решение каждому пойти своей дорогой и действовать самостоятельно, я возразил, что это опасно, если станица занята и немцы выставили дозоры. Наверняка обе дороги с двух сторон ведут к Илларионовской. Лучше следовать друг за дружкой на дистанции видимости, чтобы один мог прикрыть другого. Но Майоров не стал вступать в обсуждение дальнейших действий.

— Струсил? — с превосходством спросил он.

И я был вынужден подчиниться. Да и потому, что обидным показалось обвинение в трусости, и потому, что приказ старшего не обсуждают.

— Встречаемся на этой развилке! — приказал Майоров. — Если мой велосипед будет еще здесь, жди меня пятнадцать-двадцать минут. Не больше.

И он ушел по одной дороге, а мне ничего не оставалось, как пойти по другой.

Ситуация в один миг превратилась в крайне невыгодную, бессмысленную даже. Если Илларионовская занята немцами, то на подступах к ней обязательно выставлены боевые охранения и дозоры. Дозоры эти скрыты, замаскированы, иначе говоря — засады. А я топаю в их направлении во весь рост, никем не прикрытый, никем не страхуемый. Не разведчик, а живой «язык», взять которого не представляет труда. В один миг бесшумно вырастут как из-под земли, скрутят, и некому сзади открыть по ним огонь.

В левую руку, чтобы выдернуть чеку правой, я вложил противотанковую гранату: живым не дамся в любом случае… Но угнетала бессмысленность такой «разведки». Самое-то главное, что некому будет вернуться в полк с донесением и боевая задача

не будет выполнена… Стоп, Мансур! А если интуиция тебя подводит и только одна из этих дорог ведет в Ипларионовскую? Тогда решение Майорова разделиться было правильным?.. Я всеми силами старался осмыслить нашу с ним возможную гибель… Изворотливый мой ум шептал: к смерти будь готов, но постарайся и в этой ситуации не сплоховать.

Я лег на землю и прикинул, на сколько вперед глаз охватывает в таком положении. Метров на двести. Припорошенная снегом степь впереди пуста. И звуков — земля хороший проводник звуков — подозрительных не слышно. Так и стал продвигаться: через каждые двести метров приникаю ухом к земле, слушаю, встаю, иду, снова ложусь… И вдруг… Даже спазм перехватил горло — улыбнулось тебе счастье, Мансур! Первым обнаружить врага — это выиграть жизнь. Топот лошадиных копыт слышу!.. Ужом отползаю в сторону, автомат, гранаты наготове — жду.

Едут верхами двое. Кони не кавалерийские, а тяжеловозы, и это меня озадачило. Всадники в шапках-ушанках — не фашисты. Едут не спеша, тихо переговариваясь. А вдруг полицаи? Хуже дело, если полицаи, трудней разобраться. Оружия при них не замечаю. Вот поравнялись со мной. Даю команду:

— Стой, руки вверх!

Коней разом придержали, подняли руки.

— Кто такие? Откуда? Куда направляетесь?

Всадники молчат, подозрительно вглядываясь в мою сторону. Я с автоматом приближаюсь к ним. Тогда, увидев форму красноармейца, они наперебой стали рассказывать, что они сами илларионовские, что в Илларионовке немцы строят оборону…

Обыскав и убедившись в их искренности, я их отправил в полк с донесением, а сам вернулся к развилке ждать Майорова. Не дождался я Майорова ни через двадцать минут, ни через еще двадцать…

Илларионовку мы штурмовали почти пять суток. И, только выбив из нее немцев, у штабных блиндажей нашли изувеченный труп Майорова. Лежал он лицом вниз. На голове подшлемник без шапки, на шинели только след от ремня — у него был очень широкий ремень румынского образца, на ногах ботинки с обмотками… Пленные фашисты дали показания, что Майоров на допросах не сказал ни единого слова и был расстрелян.

Похоронили мы его на окраине освобожденной станицы, на бугре. Родом Майоров был из Орловской области.

Я понимал, что не виноват в его гибели, но сомнения терзали. Мог ли я предотвратить несчастье? Может, не следовало мне обижаться на обвинение в трусости? Наверное, надо было

настойчивей доказывать ему свою точку зрения? Ведь те две дороги от развилки действительно обе вели к Илларионовке. А может, следовало ослушаться его приказа и все же пойти за ним для прикрытия?..

Поздно теперь рассуждать. Много погибло моих боевых друзей и до и после этого случая, но гибель Майорова мне покоя не дает до сих пор…

* * *

После Илларионовки, уже вечером, ранило в нашей роте одного солдата по имени Николай. С ним повязал нас особый случай.

…Это было, когда, с облегчением покинув вагоны после той бомбежки нашего эшелона на пути к фронту, мы от станции Филоново совершали пеший марш к Дону. Все дни перехода мы не ели хлеба, так как наши интенданты заблудились и не могли нас найти. Мы были до того истощены, что я уже уверился в скорой своей гибели не от фашистской пули, а от голодной смерти. Ослабли мы и физически и морально. Сил не было даже говорить, сердиться на интендантскую службу. Ведь завтра на правый берег нам, на первую нашу передовую… Голова кружится… Было бы лето, съел бы хоть травки какой или корешков, уж я бы нашел… Хоть это и степь, а не тайга… В тайге ягод полно, кедровых шишек с жирными, сытными орехами. Даже молодая хвоя лиственницы мне нравилась. Кисленькая… А то отломишь побег у молоденькой сосны и жуешь… В детстве мой мозг работал день и ночь, думая об одном: чтобы что-нибудь съесть и немного утолить голод. Шахтерский паек — крупу, сахар, соль, масло, мясо, — который в иных семьях съедали за пять дней, отец делил — и это у него называлось «железный порядок» — на тридцать равных частей, таких скудных, что их едва хватало поддерживать силы для дальнейших поисков пищи… Рядом с нашей землянкой, так же как и мы, жили старенькие бабушка с дедушкой. Нам они чужие, но присматривали за нами, пока отец и мать наши были на работе. Главным интересом для нас была бабушка. Она каждый день приносила мне и брату две пустые банки, в которые мы «прудили». «Мочой младенцев» бабушка, как она говорила, лечилась сама и лечила дедушку, а за наш «труд» награждала нас кусочком сахара. И все время твердила, предупреждала: «Смотрите, стервецы, не подливайте водицы! У вас отец честный! Не позорьте отца!» Я был твердо убежден в детстве, что никто

нигде никогда досыта хлеба не ест, что хлеба всегда было очень мало, не то что черемши или щавеля… Когда я чуть-чуть подрос, меня отец стал брать в тайгу. Больше всего мне понравился березовый сок. Сладкий, как сахар! «Но где растет хлеб или мука?» — спрашивал я отца. «Покажу, покажу. Только погоди. Выйдем из тайги, и я покажу тебе, как растет хлеб», — отвечал он мне и посмеивался хитро. «А разве хлеб не в тайге растет?» — с удивлением спрашивал я его. «…Все растет в тайге, а хлеб где может расти?» — думал мучительно я. Вышли мы из тайги к концу дня — к желтому полю без конца и края. «Вот он, хлеб! Смотри, сынок…» Я ищу глазами, но, кроме высокой травы желтого цвета, ничего не вижу. Отец подошел к желтой траве, оторвал верхушки, потер между ладоней, сдунул мусор. Я увидел пузатенькие крупинки. Отец бросил их себе в рот и стал жевать, прищурившись. Дал и мне. Я разжевал и узнал знакомый вкус сырого теста. «Это зерно. Его в мельнице мелют и делают муку, а из муки мамка печет хлеб», — растолковывал мне отец. «Какое огромное поле! А почему хлеба мало?» — не понимал я…

Хоть бы корочку пососать. Здесь, на донской земле, хлеб зовут не «пшеница», а ласковей: «пашаничка»…

Наш старшина появился неожиданно, когда мы уже достигли цели марша — реки Дон. Хоть он и обрадовался, что нашел нас, но и изрядно трусил. Неделю морил роту голодом! Я обычно его привык видеть с красной и жирной физиономией, но теперь он был таким же, как мы, истощенным. Я даже испугался, что он явился без хлеба и еле-еле передвигает от голода ноги. Но наши кони, запряженные в огромную двуколку, были сытые, с раздвоенными холками. Двуколка тяжело груженная…

Старшина ходит между нами, лежащими пластом, и уговаривает получить хлеб, сахар, махорку… Запахло ржаным хлебом и от старшины, и от двуколки… Зашевелились мы. Старшину ругать нет пока сил. Надо сначала ожить. Вот поедим, а потом старшине от нас не будет пощады, сдерем с него шкуру!..

Пришлось по булке на брата. Старшина поторопился объяснить, что хлебом кормил лошадей. Мы не спорили: кони-то вон какие упитанные! Без хлеба разве они выдюжили бы?! Сами бы пали и хлеб наш не довезли. Старшина все же молодец. От своей булки себе ломтик отрезал и нам советует съесть не более ста граммов за первый прием, иначе «живот срежет, сколоти начнутся, не дай бог!».

— Хлопцы, не жадничайте, — скороговоркой наставляет старшина. — Срежет живот!

А лучше сосите помаленьку! Как конфетку! По крошечке пропустите!..

Суворов Павел Георгиевич заметил одобрительно:

— Старшина правильно нам советует, знает свое дело…

В сыром — начало ноября — воздухе разливался терпкий аромат ржаного хлеба. Мы дышали хлебом. Мы впитывали желудками хлеб. Мы оживали… Стали подсмеиваться над собой — что уже почти умирали. Смеялись над старшиной, как он немного трусил, увидев нас, лежащих пластом… Смеялись и над тем, что старшина тоже «поддошел»…

— Не мог глядеть на хлеб, — радостный, что совесть у него чистая, рассказывал старшина. — Я буду сытенький, а рота с голоду заморилась…

Словом, все шло хорошо, и был у нас настоящий праздник!

Но случилось ЧП…

Из моего вещмешка — я потянулся отрезать еще ломтик — исчезла моя буханка! Я глазам не поверил!.. Вся рота взволновалась, загалдела. На шум подошел командир батальона. Тогда комбатом у нас был еще Гридасов Федор Васильевич — маленького роста капитан, бритая голова, лицо красное, как после бани, орден Красного Знамени на груди. Гридасов выбывал по ранению, но потом снова после лечения в госпитале к нам вернулся. Спрашивает, в чем дело. Рассказываем и сами не рады.

— Расстрелять негодяя на месте! — приказывает комбат и сам, расстегнув кобуру, вынимает наган.

Рота, как один, схватилась за мешки. Вот уже содержимое всех вещмешков посыпалось на плащ-палатки. Лишь один туго перевязан, и хозяин не спешит его развязывать; обреченный, все ниже опускает он голову в перекрестье наших взглядов… Вздрогнул от негромкого щелчка, с которым комбат взвел курок.

— Осмотреть! — Комбат кивнул кому-то на мешок.

У меня получилось так быстро, что никто сначала не понял. Я боялся, что и комбат не поймет меня… Почти оттолкнув того, кто по приказу комбата уже склонился над вещмешком, я подскочил к Николаю — так звали вора, — запустил руку в его вещмешок и, нащупав две буханки, замер.

Все молча напряженно ждали.

Я встал, выпрямился по стойке «смирно» и доложил:

— Украденный хлеб не обнаружен!

Мгновенье на лице комбата держалось выражение удивленного недоумения, но тут же его глаза мне сказали: «Молодец!» — и он засунул наган обратно в кобуру.

Ничего не сказав больше, комбат исчез в направлении КП батальона.

Вся рота вздохнула облегченно. Не задавая больше вопросов, где же пропавшая буханка, каждый отрезал от своей по ломтю и

положил на мою плащ-палатку. А Николай закрыл лицо ладонями, лег на землю рядом со злополучным мешком и так лежал, наверное, два часа. Человек — приговоренный к позорной смерти и получивший помилование…

И вот этот-то Николай через две или три недели был тяжело ранен осколком в легкие. В его груди была рана, через которую со свистом входил и выходил воздух… Случилось это после Илларионовки — уже вечером. Санитаров в нашем батальоне не было. Раненых после боя выносили сами и доставляли до санроты, которая всегда находилась в тылу полка, но далековато… Нас в роте не более десяти-двенадцати человек. Пополнение не поступало уже два или три дня. И так сложилось, что мне было приказано волочь моего «крестника» в санроту.

Как на грех, мы опять сутки были без пищи — в роте с нетерпением ждали кухню, когда я получил приказ доставить раненого в тыл. Впрягся я в лямку из проволоки, кое-как тащу себя и волокушу в быстро густеющих сумерках и размышляю: «Приехала уже без меня кухня или я успею вернуться…» Раненый без сознания. В том, что он жив, можно удостовериться, лишь остановившись: лыжи под волокушей противно скребут по снегу, перемешанному с землей. В который раз приостанавливаюсь — еще свистит воздух в груди раненого, жив, значит. И снова заставляю себя двигаться, обходить воронки, окопы… Сумерки уже не сумерки — ночь. Как бы не заблудиться. И обидно мне, если раненый умрет, когда я доволоку его до места… Вдруг — или показалось — слышу:

— Мансур…

Остановился, наклоняюсь.

— Мансур, пристрели… А не можешь, брось… Замучил я тебя…

И откуда только в меня влилась сила! Впрягся в лямку и помчался уже без остановок, будто убегал от постыдных своих подленьких мыслей. Ведь краем сознания — надо это признать — я надеялся, что Николай умрет в начале пути и я освобожусь от груза, успею к раздаче горячей пищи.

И зачем так вперемежку доброе и злое в одном человеке — во мне?! Наверное, я был страшен в темноте: зубы оскалены, дыхание хриплое и дико выпученные глаза: живым или мертвым скорей доставить Николая в санроту!.. Сказать, что я второй раз спасал ему жизнь из особой к нему дружбы, я не могу. И в первый сработало скорей суеверие — моя была буханка-то!.. И теперь я торопился ради очистки своей совести, чтобы победить в себе начатки того злого, подлого, которое я так ненавижу и которое во мне тоже заложено!..

Чуть не свалился в глубокую балку, битком набитую тыловыми подразделениями. Из балки подымался сытый и вкусный запах пищи, смешанный с запахами конского навоза, бензина, сена… Кое-где в блиндажах светились маленькие окна.

Сунулся в один блиндаж и сиплым, простуженным голосом прошу принять тяжелораненого.

— Какой полк? — спрашивает мордастый санитар.

— Тысяча тридцать четвертый, — отвечаю я.

— Вези дальше. Тут тысяча двадцать шестой.

Тяжелая дверь закрылась туго. А у меня разом кончились силы тянуть волокушу дальше. Николай стонет и бредит. Тащу, что поделаешь, бюрократ попался. Пулю бы ему в узкий лоб! Но потом не докажешь трибуналу, что ты был прав, и тебе будет такая же пуля.

Еще блиндаж. Стучу в дверь. Блиндажи строили фашисты, и все сделано капитально. Открывается дверь, вместе с облаком вкусного пара выходит санитар. Я ему вопрос:

— Какая санрота?

— Тысяча тридцать шестая, — отвечает.

— Значит, наша! — вру уверенно. — Принимай тяжелораненого!

Сам, не оглядываясь больше, нырнул в блиндаж и сел за стол, как хозяин. Санитарки внесли Николая — уже на носилках он.

— Дайте что-нибудь пожрать, — прошу.

На стол поставили пшеничную кашу, теплую, душистую, жирную… Наелся. Уснул тут же за столом.

Разбудили меня, когда еще было темно: с пониманием, чтоб я мог успеть на передний край затемно. Доел я вкусную кашу. Да еще дали мне с собой полбулки хлеба.

Слышу:

— Мансур, подойди…

Прошел я в дальний угол блиндажа — жив Николай мой!

— Мансур, сроду тебя не забуду… Дай бог тебе вернуться домой…

Я тащил на себе до половины пути вора, помилованного мной, потом, после его просьбы пристрелить, бросить, убегал от собственных подленьких мыслей, а в санроте я простился с настоящим боевым другом, от всего сердца желая ему выжить!..

Кстати о кухне. В нашем стрелковом батальоне служил поваром ефрейтор с потешной фамилией — Цыбуля (по-украински лук), по имени и отчеству — Кузьма Климентьевич. Мы, рядовые пехотинцы, получая очередную порцию каши на полевой кухне, шутили над ним, называя его «ворошиловским стрелком» и «сынком», и надоедали ему по поводу его фамилии,

точно подходящей для его должности: «Кузя, признайся! Ты эту фамилию нарочно для себя придумал, чтобы начальство назначило тебя на эту тепленькую и сытую должность?» А он, проворно орудуя своим «полковником» (так мы прозвали половник), скороговоркой отвечает: «Э-э-эх, хлопцы! Если б была бы у мэне друга фамилия, то я б на ету катаржну должность не угодил бы!»

Цыбуля при раздаче каши, даже ночью, видит каждого из нас «наскрозь» (это он так выражается), кто какой вояка: «Я тэбе наскрозь вижу, солдатик, што ты даром ешь кашу!» Солдатику стыдно, и он помалкивает. Вот подходит другой пехотинец со своим котелком в руке. У него винтовка блестит, его саперная лопатка острая, как бритва, так что ее можно применять в рукопашном бою вместо меча, а в его вещмешке две противотанковые гранаты и полный комплект патронов. Он худощавый и изможденный, как пахарь из «Поднятой целины». Ему Цыбуля не жалеет каши и черпает добавку. И тут появляется наш «фраер». На нем офицерская шинель и новый широкий комсоставский ремень, которые он где-то стащил, на животе висит трофейный пистолет «парабеллум», а на голове меховая каракулевая шапка. Вместо обыкновенного солдатского котелка у «фраера» металлический объемный кожух из-под немецкого противогаза, куда вмещаются как минимум четыре порции каши. Он важно подставляет Цыбуле свою «парашу» и требует: «Наложь полный!» Цыбуля с ним не спорит и молча кладет порцию на одного, бросая грозный взгляд на «фраера». Тот не отходит и «давит» на Цыбулю: «У тя, сука, полный котел!» А Цыбуля ему в ответ: «А у тя в «котелке» не хватает!» Пехотинцы смеются так, что немцы дают длинные очереди на звук.

У Цыбули на шинели поблескивает медаль «За отвагу». Он по праву может гордиться ею, так как получил заслуженно, совершив подвиг. Даже злой на язык «фраер» уважает его за это и, не смея возразить Цыбуле, без спора отходит от кухни несолоно хлебавши.

Нам было неведомо, что Цыбуле удавалось спать не более чем полтора-два часа в сутки, и то урывками, на ходу — лошади сами находили дорогу до стрелковых рот и обратно «домой», в хозвзвод. Однажды командование дивизией приказало нашему батальону с боем продвинуться вперед и тем самым выровнять нашу передовую линию. В темноте, под прикрытием нашего артиллерийского огня, мы приблизились вплотную к немецким траншеям и внезапно ворвались в них, навязав фрицам рукопашный бой. Наши ряды в этом бою быстро таяли — фашистов было втрое больше. Я уже был почти уверен в нашем

полном поражении и думал, как мне быть, чтобы не сдаться фашистам живым, так как отступать нам было нельзя. Существовал приказ Верховного Главнокомандующего № 227 с призывом: «Ни шагу назад!»

В самый критический момент этого рукопашного боя случилось чудо! Со стороны немецкой обороны послышались автоматные очереди, и фрицев вдруг сдуло как ветром из траншей. Я выбрался наверх, чтобы узнать причину. Оказалось, что уснувший в двуколке Цыбуля с нашей полевой кухней промчался в тыл к немцам! Проснувшись и поняв, куда попал, он открыл очередь из автомата по врагам, решив: помирать, так с музыкой. В тылу же у немцев Цыбуля оказался потому, что перед его лошадьми взорвались несколько снарядов и испуганные животные понеслись в сторону немецкой обороны. За этот подвиг Цыбуля и был награжден медалью «За отвагу».

Ни шагу назад!

Тот день, 23 ноября 1942 года, когда войска нашего Юго-Западного фронта поставили перед собой задачу соединиться с войсками, продвигавшимися навстречу нам с юга, помнится мне эпизодами сплошного непрекращавшегося боя.

…Навьюченные, как всегда, лафетами, стволами, плитами, бегом меняем свою огневую позицию, тесним яростно упирающихся немцев. Опять падают наши минометчики. Погиб очень хороший сильный мужик из Бодайбо. Сибиряк. Золотоискатель и старатель. Мне сродни — я ведь тоже родом с приисков Миассзолото… На мне тяжелая обязанность парторга роты — забрать у убитого партбилет. Возвращаюсь к сибиряку, быстро освобождаю его тело от вещмешка и не могу понять, какая именно тяжесть — на части миномета не похоже — раздавила сибиряку затылок. Разворачиваю — ручная швейная машинка, старательно обвернутая плащ-палаткой. Мне стало не по себе. Из-за чего погиб!

Сибиряк был отличным, храбрым, выдержанным и выносливым воякой. А в мирной жизни он был хорошим семьянином и заботливым хозяином. Для него швейная машинка являлась символом достатка. Машинку он хотел привезти с войны и подарить своей жене… Вспомнилось мне свое житье-бытье до войны. Швейную машинку имели одну-две на весь прииск. Патефон, велосипед были большой редкостью… Но именно эта машинка убила сибиряка. На теле его я не обнаружил ни единой царапины, он просто на бегу споткнулся и упал… Не стал я никому в роте рассказывать об этой машинке, чтоб не осудили человека… А может быть, зря. Это послужило бы хорошим уроком.

* * *

…В полосе нашей 293-й стрелковой дивизии действовала 69-я танковая бригада. Туго приходилось танкистам. Немцы укрепили противотанковую оборону, и наши танки то и дело вспыхивали, подожженные бронебойными снарядами.

Загорелся и танк, за которым рота следовала в атаке. Мне показалось, сама броня в нем горит, словно была не стальной, а деревянной. Танкист выскочил, объятый пламенем с пяток до головы:

— Спасите полковника!

Упал на снег, катается, чтобы сбить пламя, а сам кричит:

— Братцы, спасите полковника!

Каждый старается обогнуть горящий танк: он вот-вот взорвется. Хочется и мне проскочить мимо — не на блины спешу, в атаку! Да и у тех, что уже пробежали здесь — в оправдание подсказывает мне хитрящий мозг, — времени в запасе было больше, танк взрывается через две-три минуты после того, как загорится. Но совесть, слышу, кричит мне: «Не теряй времени, лезь на танк!» Мозг: «Бесполезно! Все равно не успеешь!» А совесть… Конечно, вся эта «война» во мне — доли секунды. Сработали все же мои «тормоза», уже чувствую, как шипит горячая броня под моими мокрыми перчатками. Броня скользкая, никак не могу запрыгнуть и никаких ни скоб, ни выступов не вижу. Но уже не могу остановиться и прыгаю сколько есть силы… А из люка наверху пыхнуло в лицо горячим дымом, и руки — живые руки живого танкиста — вцепились мертвой хваткой в рукава моей шинели. Я свои руки запустил поглубже, чтоб ловчей было тянуть из тесного люка, зажмурился, лицо отворачиваю — дымом-гарью разъедает глаза, — и рывками (никогда еще таким тяжелым не казалось мне тело одного человека) вытянул.

Свалились мы с ним на милую землю. Земля милая, да лежать на ней пока не приходится. У полковника обе ноги перебиты. Схватил его, тащу по снегу подальше от танка. Двадцать метров… Тридцать метров…

Взрыв был сильный. Башня поднялась метров на пять, кувыркнулась в воздухе и грохнулась рядом с корпусом. Железки с неба сыплются.

Полковник обнял меня:

— Сынок! Не забуду! Как твоя фамилия? Абдулин? Не забуду! Пока возьми вот пистолет на память…

Подоспевшие санитары уложили его на волокушу, сделанную из лыж, и поволокли в тыл…

Через три десятка лет маршал бронетанковых войск Олег Александрович Лосик, в те дни воевавший в составе 4-го мехкорпуса в полосе боевых действий 293-й стрелковой дивизии, поможет мне установить личность полковника. Им был батальонный комиссар 69-й танковой бригады Г. В. Прованов.

Не за награды воевали, это правда. Как на духу скажу: когда карабкался на броню горевшего танка, я не думал о награде. Думал: «Только бы успеть до взрыва!» Но товарищи — и посейчас в селе Пестровка Стерлитамакского района Башкирской АССР живет мой однополчанин Евстигнеев Иван Александрович, который видел и помнит этот эпизод, — товарищи заранее меня поздравили с наградой за спасенного (ордена и медали в своем

статуте имели положение «за спасение командира, с риском для собственной жизни». — *Прим. ред.*). До семьдесят пятого года у меня все теплилась надежда узнать о его дальнейшей судьбе. Выяснилось, что в 69-й танковой бригаде полковника Г. В. Прованова считают сгоревшим в танке. Тело его найдено не было. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза — он в том бою командовал бригадой взамен заболевшего комбрига. Полагаю, танкисты, наскоро осмотрев после боя взорвавшийся и сгоревший танк, пришли к выводу, что батальонный комиссар сгорел.

Но что произошло с ним на самом деле? После того как я расстался с ним и пожилые санитары на волокуше из лыж потащили его в сторону санчасти?.. Накрыло артобстрелом? Погиб от осколка, избежав смерти в горящем танке? Умер от потери крови? Должны были в таком случае сохраниться при нем хоть какие-то опознавательные документы…

Мне, как говорится, не повезло. Но мне не повезло всего лишь с наградой. Тому человеку — если он все-таки погиб, только что зацепившись за жизнь таким чудесным образом! — ему «не повезло» больше… Когда говорят о пропавших на войне без вести, я вспоминаю именно тот день. Земля вставала дыбом в буквальном смысле, и наверняка не один человек был завален ею раз и навсегда вместе со всеми своими опознавательными документами…

* * *

Еще две чудовищные картинки врезались в память, когда, простившись с танкистом-полковником, я догонял своих.

…Странная фигура на трех точках — на локтях и одном колене, — содрогаясь в конвульсиях, улепетывает от «передка» мне навстречу. Вторая нога в валенке противоестественно длинная: безжизненно болтаясь, она цепляется за всякие неровности — от этих-то зацепок и содрогается все тело. Уже проскакиваю мимо — оторвало человеку ногу, подберут санитары, уволокут в тыл, жив останется. Как вдруг, страшно взвыв — я застыл, замер на месте от этого воя, — солдат сел, вынул из кармана перочинный ножик, подтянул ближе валенок с ногой и, попробовав пальцем лезвие — тупое! — дико оскалившись, стал перерезать обнаженное сухожилие, на котором, собственно, и продолжала еще держаться нога. У меня при себе всегда был хороший нож. Помочь? Сказать честно, я думаю об этом сейчас. А тогда я без единой мысли в оцепеневшем

мозгу смотрел, как солдат, яростно скалясь, отрезает себе ногу… Наконец нога упала с ним рядом. Солдат снял с себя шапку-ушанку, надел ее на культю и аккуратно перетянул брючным ремнем. Потом поднял ногу в валенке, прижал ее к груди, как ребенка, и стал закапывать землей вперемешку с грязным снегом… К нему подоспела медсестра Луценко Маша, а я заставил себя стронуться с места и побежать, спотыкаясь, дальше…

* * *

…Артналет! Еле успеваю спрыгнуть в первый попавшийся окоп, чтобы переждать. За мной следом прыгает еще один солдат-пехотинец. Спрыгнул и кричит истошно:

— Дай закурить!

Достаю кисет, отряхиваясь от посыпавшихся на нас сверху комьев, протягиваю, а он хриплым матом:

— …!…! Заверни!..

И пока я, заторможенно осмысливая тон его просьбы, сворачиваю «козью ножку», он торопится, орет мне сквозь грохот:

— Руки оторваны!

Смотрю, и правда: рукава его шинели болтаются и набрякли кровью… Сунул «козью ножку» ему в губы и, протянув огонек зажигалки, замечаю, какого они химически-чернильного цвета.

Артналет прекратился внезапно. Солдат, как на пружинах, выпрыгнул из окопа и побежал, крикнув на прощание:

— Я отвоевалси, браток…

…В роте меня уже посчитали погибшим: видели, что я полез на горевший танк, который через две минуты взорвался. Многие оглянулись на тот взрыв и в уме отметили: «Абдулин погиб».

— Живой! — кричат, увидев меня.

Как же сладко на войне почувствовать чью-то непритворную радость по поводу того факта, что ты еще жив! У Суворова — командира моего дорогого — даже слезы были на глазах, когда он меня обнимал.

— Ну, Мансур, с тобой не соскучишься! — сказал он не то строго, не то с гордостью…

* * *

…Наконец во второй половине дня состоялось на нашем участке соединение войск Юго-Западного фронта с войсками,

которые продвигались навстречу нам с юга. Сгоряча, не разобравшись, что фашистов между нами уже нет, потеребили огоньком… друг друга. Потом мне, как и многим, казалось, что я сразу заметил неладное: мины летели к нам без воя, взрывы были бездымные, да и автоматный и пулеметный огонь отличался тем, что не было разрывных пуль…

Плотный огонь прижал нас к земле. Мы видим контратакующую нас массу людей. Нам странно видеть, что фигуры их не похожи на гитлеровские… Кто-то все же разглядел, что контратакующая нас масса живой силы — свои!.. Реакция была молниеносной, хотя запоздалой. Внезапно оборвался бой. Все прекратили огонь. Бежим навстречу друг другу, и только скрип снега под ногами — такая тишина…

— Братцы! Родные!

— Как же это, а?! Сгоряча свои своих поколотили!..

Обнимались и плакали, потому что ведь и убитые были, и раненые…

Каждый винил себя, что не крикнул, не взял на себя ответственность крикнуть: «Свои!», почувствовав неладное. Ведь в таких случаях солдатский невидимый телеграф срабатывает молниеносно, все бы вмиг прекратили огонь… Потом приводили в порядок поле боя и не могли смотреть друг другу в глаза…

Мы теперь воюем на Донском фронте…

Наступил исторический момент в Сталинградской битве. Кольцо сомкнулось, и трехсоттридцатитысячная гитлеровская армия полностью окружена. Задачей нашей теперь стало не дать ей вырваться из «котла».

* * *

Суворов из-за меня напереживался вдоволь. Уж столько всего приключилось со мной за три всего недели войны. А весть о моей сначала гибели, а потом — что я жив! — окончательно сблизила нас. Когда малость затихло, мы с ним о многом откровенно переговорили тогда, и в частности о значении приказа № 227 «Ни шагу назад!».

Тут психология солдатская очень сложная, и до глубины истинной никогда не докопаться никому. По нашему с Суворовым разумению, мы могли отступать до тех пор, пока не появился этот приказ. Он сработал как избавление от неуверенности, и мы остановились. Остановились все дружно. Остановился солдат, убежденный, что и сосед остановился. Встали насмерть все вместе, зная, что никто уже не бросится бежать. Приказ оказался

сильным психологическим оружием солдат. Хотя и неловко было сознавать тот факт, что сзади меня стоит заградительный отряд…

Воевавший с первых дней войны и отходивший вместе с полком от западной границы, от Бреста, Суворов в разговоре со мной многозначительно вздохнул:

— Раньше бы надо издать такой приказ!

Окоп — огневая позиция

Мы понимали, что фашисты, оказавшись в «котле», не захотят сидеть пассивно. А сколько их там? Никто не знает точной цифры. Настойчиво спрашиваем начальство:

— Сколько фрицев в «котле»?

— Тысяч сорок, — отвечают нам.

Ого-го! Сорок тысяч! Цифра впечатляла.

А если половина попрет на запад на узком участке, да через нас, через наш полк?!

Правду-матушку мы узнали только через два месяца — 2 февраля 1943 года. Оказывается, немцев было в «котле» 330 тысяч!

— Почему вы нас обманывали? — спрашивали мы потом своих командиров.

А они, хитро усмехаясь, отвечали, что иногда на войне нельзя говорить истинную правду. И называется эта хитрость святой ложью. Говорили «сорок тысяч», чтоб не испугать солдат.

— И то верно, — соглашались мы.

А пока, на исходе ноября 1942 года, перед нами была поставлена задача немедленно подготовиться к отражению возможной попытки окруженных войск прорвать кольцо.

Закипела работа. Мы рыли траншеи в полный профиль.

Для этого надо выдолбить полутораметровый слой промерзшей, почти окаменевшей почвы. Потом вырыть на дне окопа нору.

Каждая такая нора не похожа на другую по форме и объему, поскольку роется она на свой вкус и по своей комплекции. На двоих-троих тоже устраивали «ложе»: теплей было вместе. Слой мерзлоты над головой с успехом заменял нам бетонное укрытие. Ноги же, укладываясь спать, мы всегда высовывали наружу на случай внезапного взрыва, чтоб можно было выбраться, если засыплет землей.

И ночью минометчики не давали покоя врагу. Днем пристреляем балку, в которой фашисты табунятся по всяким своим хозяйственным делам, запишем на огневую схему данные точной пристрелки всех извилин и ответвлений их позиций, а потом методично, с интервалами в пять минут, ведем огонь. Называлось это — «изматывать противника». Фашистам от нас покоя нет всю ночь напролет, а мы и поспать ухитримся: каждый расчет по очереди ведет огонь в течение часа. Выпустишь в сторону вражеских позиций свою сотню мин — и скорей в нору, где товарищи, прижавшись друг к другу, уже накопили тепло.

До этого не обращал внимания, а в войну заметил: уязвимей всего к холоду коленки. Может быть, оттого, что на коленках у человека нет ничего сохраняющего тепло: кожа да кости… И уж тут спасала солдата шинель. Полы у шинели длинные. В походе или в атаке это, конечно, минус: путаются в ногах, приходилось засовывать под ремень, чтоб не мешали бежать. А вот во время сна минус оборачивался плюсом: полами шинели очень удобно было укутывать стынущие ноги.

Более удачную для солдата одежду не придумаешь! И материал для нее выбран подходящий: шинельное сукно не только греет хорошо, к нему и снег не липнет, и присохшая глина легко удаляется, дождь тоже с него скатывается, быстро оно сохнет. Трудней отчищалась сажа. Ведь и светильники у нас были. В гильзу от сорокапятки нальешь солярки, от той же шинели кусок полы отрежешь, вот и фитиль. Сажа — хлопьями, но можно было пуговицу пришить или письмецо написать. Залезешь в такую нору, и умирать не хочется. «Как, — думаешь, — уютно! Как хорошо-то!»

Окоп — рабочее место солдата, огневая позиция. Но это и жилище его. Вспоминаю и не устаю восхищаться волей человека к жизни. Казалось бы, окоп готов и нора вырыта — забирайся в нее да успевай отсыпаться, пока не прозвучала команда к бою. Но нет. У человека уже разгорелась страсть к благоустройству: начинает выдалбливать одну нишу для гранат, другую для патронов, третью для автомата, чтоб под рукой был. А там и котелку охота определить место… Вот уже и обжил солдат свой окоп, вот уже и дорожит им.

Команда «Минометы — на вьюки! Вперед!» иногда отзывалась в душе мгновенной болью расставания с обжитым кусочком земли. А уж врагу уступить свой окоп было смерти подобно.

Фашисты почему-то ленились рыть для себя окопы. То ли не рассчитывали долго засиживаться в «котле», то ли не по зубам оказалась им наша мерзлая земля под Сталинградом. Не знаю. Но бывало, что свои огневые позиции они строили из замерзших трупов. В два-три слоя выложат стенку из трупов вокруг себя, засыплют ее снегом — и готово укрытие. Окоченевшие трупы мертвых гитлеровцев защищали живых от пуль и осколков. Но не завидовал я немцам, когда наступали внезапные оттепели… Да и полковые наши 76-миллиметровые пушки легко разрушали подобные «инженерные сооружения».

Пленные немцы, обхватив головы руками и раскачиваясь, часто бормотали: «О, майн гот!» Понятно: «О, мой бог!» Но что означает «Gott mit uns»? Такая надпись была на бляхах гитлеровских солдатских ремней. Ремни крепкие, из настоящей

кожи. И снять бы, думаешь, с убитого фашиста ремень, подпоясаться добротным ремнем самому, да надпись на медной бляхе — рельефная, четкая, как на могильной плите — останавливает. Узнать надо сначала, что она обозначает по-русски. А то нацепишь на себя неизвестно что… «Gott» — понятно: «Бог». А остальные два слова? Вот когда я пожалел, что ленился в школе изучать немецкий. С десяток наших траншей и окопов облазил («А хрен его знает!», «И знать не хочу!» — отвечают мне все), пока наконец не нашелся один солдат, бывший учитель сельской школы, который, изрядно попотев, перевел загадочную фразу. Вот оно что, оказывается: «С нами бог!»

На трупах из оттаявших «инженерных сооружений» гитлеровцев эта надпись теперь воспринималась как особенно едкая над ними насмешка.

А рядовые немецкие солдаты и не знали, что они в «котле». Из показаний пленных становилось ясно, что фашистское командование всячески скрывает от рядового состава страшную правду, чтобы не лишать солдат надежды на победу и заставить их сражаться с нами до конца. Я сам видел пленного немца, который был контужен и как заведенный упорно твердил: «Их гее нах Москау!» — «Я иду на Москву!»

* * *

На днях я впервые увидел противотанковых собак. Я, как таежный человек, очень люблю собак и, когда узнал о собаках-смертниках, сильно расстроился. При чем тут безответное животное, радость детства? Собака — преданный друг. Собака верит человеку, а человек обманом посылает ее на гибель под танк!.. Ноги мои подкашиваются, но несут меня к собакам, они тут, рядом, со своими собаководами-солдатами — ждут своего часа… Пестрые, лохматые… Уши висячие и торчком. А этот — одно ухо стоит, а другое висит — шалопаем был, видать… Рядом приготовлен тючок со взрывчаткой килограммов на восемь… Смотрит на меня, наклоняя свою голову то влево, то вправо, надеясь на угощение…

Собаководом оказался средних лет рыжий мужик из Красноярского края — земляк мой. Разговорились. Собак обучали три месяца: кормили их только под движущимся танком — вот и весь секрет «геройства» противотанковых собак. Из тючка торчит антенна, соединенная со взрывателем…

Я, чтоб не отвлекать собаку, ушел к себе «домой» и рассказал обо всем Суворову.

Скоро со стороны немцев показались танки, и мы увидели, как навстречу им понесся черный лохматый клубок! За ним с небольшим интервалом — второй, третий…

Первая же собака уничтожила танк мощным взрывом. Потом донесся второй взрыв, третий… Фашистские танкисты стали круто разворачивать свои машины и на большой скорости исчезли.

Из наших окопов закричали «Ура!»… И надо бы мне тоже радоваться — атака немцев сорвалась, но я плакал, проклиная и войну и нелюдей, которые ее затеяли…

Ночью немецкие транспортные самолеты сплошными эшелонами забрасывали в «котел» военные грузы. Стреляя трофейными ракетницами, мы сбивали с толку штурманов, и сыпались сверху «посылки»: хлебные буханки «эрзац», колбаса, тушенка, шерстяные носки, соломенные боты, сигареты, галеты и тому подобное. Хлеб — в целлофановых оболочках, выпеченный, как говорят, в 1933 году. Но солдаты германский хлеб забраковали: вкуснее наших сухарей нет на всем свете…

Получилось так, что нашей роте уже больше недели не везло на продовольственные «гостинцы», и, как всегда, наши интенданты где-то запропали. Одному нашему товарищу Марченко Виктору очень повезло, и он где-то подобрал целую вещь — мешок колбасы в марлевых оболочках. Вопреки нашим правилам он на этот раз почему-то решил «зажать» богатый трофей и с нами не делиться. Он обезумел и грозился применить оружие, если кто посмеет отобрать принадлежащий всем трофей. Мы все решили оставить его одного с его колбасой в блиндаже. Все его товарищи прокляли его и забыли. Я знал его раньше как настоящего и надежного друга, а теперь не узнаю. «Он чувствует близкую свою смерть?!» — подумал я, и мне самому стало неприятно от этого… Прошел относительно спокойный день. Мы ждали — «Скорей бы ночь!», и, быть может, мы «сходим к фрицам в гости», как это делали раньше, возвращаясь от них с богатыми трофеями. Вдруг в той стороне, где остался Виктор в блиндаже, раздался глухой взрыв. Мы увидели обвалившийся блиндаж, который дымил…

Надо сказать, что, с первых дней находясь на «передке», я постепенно стал замечать: тот, кто из моих товарищей снимал у убитого фрица часы, рано или чуть погодя сам погибал…

Перед своей смертью человек до смешного превращается в трусишку и, потеряв над собой всякий контроль, не знает, куда себя девать…. Но были и те, кто все же пытался казаться спокойным. Я же каким-то своим, быть может, седьмым или девятым чувством, безошибочно предугадывал гибель такого

человека в ближайшие часы…

* * *

У нас в роте были перебои с доставкой мин из тыла. Но трофейных было много. Наши минометы 82-миллиметровые, а немецкие 81-миллиметровые. Попробовали стрелять из своих минометов трофейными минами. Сами рассчитали и составили таблицу с поправкой к данным прицела… Трофейные мины крепко нас выручали.

А однажды на нашем участке боевых действий увидели немецкую четырехствольную автоматическую зенитную установку. Установка была чудом военной техники. Стоит на домкратах сложный механизм. Множество маховиков и рукояток. Вращается вокруг оси в любую сторону. Стрелок, сидя в специальном сиденье со спинкой, может работать и руками и ногами… На каждом стволе огромные коробки с обоймами по пять снарядов — для автоматического заряжания. Весь механизм сбалансирован, и можно с одинаковым успехом наводить установку на цель в любом направлении.

Комсомолец Конский Иван, минометчик из нашей роты, первый забрался в сиденье-люльку и начал крутить маховики и рукоятки. Рядом стоит орудийный мастер Мануйлов Геннадий, объясняет, что к чему, а Конский вроде бы и сам не хуже знает, потому что через десять минут Ваня стал рассказывать нам про эту установку так, будто это он ее и изобрел.

И вдруг мы услышали гул приближающегося самолета. По звуку поняли, что самолет летит низко. Был туман. Конский крутит маховики и шутки ради направил все четыре ствола на звук. На бреющем полете немецкий самолет показался внезапно на очень близком расстоянии и быстро уходил, растворяясь в тумане… Конский открыл огонь, ответный огонь открыл и самолет. Трассирующие линии устремились навстречу друг другу… И когда уже фюзеляж самолета стал погружаться в густое облако тумана, послышался дикий сорвавшийся рев моторов транспортного самолета. Фюзеляж на наших глазах переломился. Нос и хвост задрались кверху, а на переломе фюзеляжа образовалась дыра, из которой все содержимое, как из огромного самосвала, полетело на землю. Изувеченный самолет стал снижаться, скрылся из глаз, и мы услышали глухой удар о землю и взрыв.

Конский Иван сидел в люльке весь в поту, красный как рак и обалдело смотрел на нас. Разом всей ротой мы заорали «Уррра!».

Потом побежали смотреть, что вывалилось из чрева самолета. Более тридцати трупов крупных гитлеровских чинов насчитали наши солдаты на земле. Сотни ящиков и чемоданов с ценными вещами, отобранными у советских людей.

Все документы и ценности были собраны и отправлены в штаб дивизии. А Конский Иван, кажется, был представлен к высокой награде.

Наша минометная рота имела свой пулемет «максим» и один немецкий, «МГ-34», которые часто нас выручали в бою. Имели мы и одно противотанковое ружье с хорошим запасом патронов. Из ПТР мы иногда уничтожали пулеметные точки гитлеровцев, но по танкам из него стрелять не доводилось. Хорошо бы и эту трофейную зенитную установку «присвоить»… Жаль было Ивану Конскому расставаться со своей пушкой, но пришлось — забрали ее орудийщики.

А на другой день Конскому не повезло. Нашел он пистолет — немецкий или еще какой, но только не наш, не отечественный. Спрятал в карман, чтобы после боя разглядеть незнакомый механизм. Вечером, когда утих бой, Конский вспомнил про свою находку. Мы уселись вокруг. Конский вертит пистолет так и этак: не поймет, как же стреляет эта диковина. И мы не можем догадаться, что в ней к чему. И вдруг прозвучал выстрел. Конский застыл с растопыренными пальцами, и левая его ладонь заливается кровью… Побледневший Иван обводит нас глазами: все ли живы? Убедившись, что пуля никого не зацепила, он уставился на свою окровавленную ладонь.

И только тут мы перепугались. Если дойдет до начальства, то Конскому не избежать трибунала. Случайный или преднамеренный, но фактически это самострел. И сбитый вчера Иваном фашистский транспортник не зачтется… Быстро сделали мы Ивану перевязку своими индпакетами и взмолились перед всеми всевышними, чтоб зажила рана без вмешательства медиков. Поверх повязки натянули ему большую рукавицу с крагами да уговорились не проболтаться никому о случившемся.

Через две недели Конский Иван сбросил ту повязку, и мы увидели на ладони шрамик: пуля прошла между косточками через мякоть. Так что, как мы в нашей роте ни были заинтересованы в изучении трофейного оружия и в овладении им, не всегда обходилось гладко. Вот случай, который едва не кончился трагически.

У железнодорожной станции Карповская мы отбили состав из особых вагонов с механизмами, как у путеукладчика. На одной платформе — огромная пушка. Видимо, немцы пригнали ее для штурма Сталинграда.

Калибр пушки не менее 400 миллиметров. Эта пушка-гигант заворожила нас. Мы ахали и охали, ну и, конечно, одолело естественное любопытство: что в ней к чему и как. Вот ящики плетеные со снарядами. Каждый весом не меньше чем сто килограммов! А где гильзы? А это что такое? Стали распаковывать шелковые мешки и увидели — толщиной с палец, длиной сантиметров по семьдесят макаронины. Снопами в мешках, зашитых наглухо.

— Это ведь порох!

Одни засмеялись — не верят. А тот, который разгадал, что порох это, взял и поджег макаронину с одного конца… Горит интересно! Вот это да! А держал ее солдат двумя пальчиками. Макаронина вдруг вырвалась на свободу и как шайтан стала носиться туда-сюда… Кругом — штабеля мешков с этими макаронинами. Кто бросился бежать подальше, кто ловить взбесившуюся макаронину… Наступит кто-нибудь ногой на нее, а она выстрелит из-под подошвы и снова мечется над головой, как молния. И вот эта макаронина извернулась и лезет в щель между мешками. Как говорится, бежать поздно было еще вчера — рванет такой склад… Я кинулся к мешкам, схватил макаронину, обжигая руки через перчатки, да наступил ногой не на горящий ее конец, а на другой и держал до тех пор, пока она не сгорела совсем.

А потом эта пушка днем и ночью работала на нас. Ее снаряд, тяжело вращаясь, прошуршит высоко над нами, а потом где-то впереди — в «котле» — так грохнет, что зарево займет весь горизонт…

* * *

В окопах на войне в минуты передышки часто мыслями возвращаешься к прожитой жизни. Но больше всего хочется в теплую избу, на печку, и выспаться. В баню бы забраться и париться на полке… Про баню боязно и думать, такая мечта кажется совершенно сказочной.

В продолжение целого месяца мы ни разу не уснули в помещении, а на открытом воздухе спать приходилось большей частью «на ходу». В зимних условиях степной местности это трудно выдержать даже такому здоровому и молодому организму, как мой. Изнуряли вши. Куда ты денешься зимой от них? Никуда. Я пробовал дустом травить — бесполезно. Бывало, когда после боя взмокну, я доставал пакет с дустом и через воротник засыпал под мокрую рубашку на голое тело. Дустом пудрил все тело от макушки до пяток. Но вши были живучие, и дуст не влиял на них.

Нерегулярное питание, хронический недосып, холод, постоянные физические перегрузки… Пьем грязную воду из грязных котелков, оттаянную из грязного снега… Как можно было вытерпеть такое? Уму непостижимо! Повторяю, условия окопной жизни в степной местности под Сталинградом были очень тяжелыми. Кроме того, через три-четыре недели после моего прибытия на фронт у меня возникло недержание мочи. Я вынужден был мочиться через каждые пять-шесть минут и, чтобы не напустить в штаны, должен был постоянно держать расстегнутой ширинку. Я был уверен в том, что это какая-то болезнь, но мне было стыдно об этом ставить в известность свое начальство. Больше всего я боялся, что эта болезнь теперь на всю жизнь, и я скорее был согласен погибнуть, чем быть таким инвалидом! Мой друг, заметив мое частое мочеиспускание, успокоил меня: «Такое было и со мной, а когда я с ранением попал в госпиталь, через неделю избавился от этой болезни». Это меня успокоило. Я тогда задумался: «Почему я остаюсь тут в кромешном аду целым и невредимым, тогда как почти все мои однополчане за этот короткий промежуток погибли или ранены?»

Во сне, когда бывает возможность где-нибудь на минутку прикорнуть, вижу себя убитым и лежачим воином из картины «Куликовская битва»… Мне один пожилой сибиряк-пехотинец, выслушав о моих снах, с завистью сказал: «Ты обязательно вернешься домой после войны и поэтому не пугайся такого сна!»

Но я откровенно обязан признаться в том, что я завидовал всем, даже тяжело раненным… Я иногда бросался под «кинжальный» огонь гитлеровцев с расчетом получить ранение, но уже сколько раз за это мои товарищи называли меня «настоящим героем» или «бесстрашным человеком». А мне после этого было очень стыдно…

Грязь впиталась в кожу. Лица черные и закопченные. Но мы глядим друг на друга — и хватает сил смеяться: до чего же чумазые и смешные! Хорошо, что у меня тогда еще не росла борода. А у старших моих товарищей-мужичков торчала грязная щетина, и они вообще были похожи на бармалеев…

Командиры, конечно, хотели бы, чтоб мы внешне выглядели более или менее приличней, но требовать от нас опрятности они не могли.

Я в детстве был мечтатель. На прииске пацаны с восьми лет умели мыть золотишко. Как утята, на речке Миасс полоскаемся с утра до вечера с ковшами да с лотками. Я мечтал найти огромный самородок, который не смогли бы поднять все наши старатели. Я думал тогда, что раз мы находим мелкое золото, то непременно где-то лежит в земле материнское золото размером со скалу.

Почему я так думал? Потому что я видел камешки размером с песчинку и монолитные каменные горы, как Таганай… Детская жизнь наша была в те годы в сплошной работе: по дому, во дворе, в огороде, на покосе, в лесу. Играть хочется, но некогда. Коньки и лыжи лежали, так и не дождавшись хозяина. В летние каникулы меня отец устраивал в старательскую артель коногоном. Я любил труд, но мне хотелось хоть один раз в десять дней побыть в лесу одному или с удочкой на речке… А старатели работают без отдыха все лето… Что придумать, чтоб не работать целый день? И придумал. Утром, как правило, старатели рассказывали свои сны. И обычно, когда кому-нибудь приснится очень плохой сон, суеверные старатели устраивали выходной. И вот утрами я тоже стал объявлять свои сны: детским снам придавалось очень большое значение. Бригадир отменял рабочий день, и я убегал «зимогорить» в лес или на речку… Когда я позже отцу признался в своей хитрости, он до слез смеялся…

Мечтателем я остался и до седых волос, мечтателя не вытравили из меня и окопы под Сталинградом в декабре сорок второго…

«Как бы мне роту всколыхнуть, — мучительно размышлял я в те дни. — Что придумать, чтобы люди сделали невозможное и, несмотря ни на что, все бы разом обрели пристойный облик?..»

Идея пришла внезапно, я даже испугался поначалу. Но когда я проанализировал варианты «последствий», я решил, что меня невозможно будет разоблачить, и начал свои действия.

Сначала я отлучился от своей роты на полчаса, а вернувшись, принес «потрясающую новость»:

— Хлопцы, ходит слух, что на Донской фронт прибыл Сталин!

И «новость» понеслась по окопам и траншеям с самой стремительной на войне скоростью — со скоростью солдатского телеграфа. Уже через какой-нибудь час я не увидел в нашем батальоне ни одного солдата, который бы не наводил порядок в своем туалете. Хлопают и скребут свои шинели. Пришивают хлястики. Бреются на морозе и моются. Чистят свое оружие. Словом, принимают бравый вид…

Начальству задают солдаты вопросы, чтоб удостовериться, начальство в недоумении, но солдаты в данном случае слуху верят больше, чем начальству. Мол, зажимает начальство такую новость, понятно, секретность сохраняет… Зря я боялся за «последствия» своей идеи. Признайся я теперь, что слух пустил я, мне бы уже просто не поверили…

* * *

Как-то по ходу наступления и продвижения нашего батальона увидел я ряд крепких блиндажей, брошенных немцами. Солдаты наши приостанавливаются возле них, что-то выясняют и двигаются дальше, вперед… Достиг и я этих блиндажей. Смотрю, у входа на земле корчится могучий артиллерист из полковой артиллерии. Похоже, отравился чем-то, это бывало часто.

Пострадавший колени поджимает, мнет свой живот и стонет, как в трубу. Солдаты посмотрят на «страшные муки» — и прочь.

— Чем же он отравился? — пытаюсь дознаться.

— А вон, видишь, что-то из тех бутылей выпил.

Я посмотрел: в ящике шесть бутылей литра по три-четыре каждая. Жидкость в них золотистая и вязкая.

Умирающий изо всех сил старается умереть самым мучительным образом. Блеснул на меня подозрительным глазом и жалобно стонет:

— Ох, боже ж мий! Ох, боже ж мий!..

Тут я разглядел, что у этого хохла морда малиновая, хоть он старается, надувшись, побагроветь… Выясняю, что в блиндаже еще есть ящики с такими бутылями… В нашей минроте были свои повозки, запряженные парами. Я шепнул из наших одному, чтобы сюда скорей пригнали из роты двуколку.

Двуколка подоспела вовремя, вперед артиллерийской повозки. Тут хохол взревел по-настоящему:

— Оставьте ж хоть ящик, паразиты!

— Не, — гогочут наши хлопцы. — Самим мало!

— Э!.. Тоди и я з вамы!..

Потом уже, став в нашей роте почти своим, артиллерист — его звали Микола Марченко — очень любил рассказывать, как он обдурил чуть не целый батальон и как на «хитром татарине» вышла у него осечка: «…а этот сузил свои татарские зенки и так и впился в мою морду…» И делал под конец рассказа вывод:

— Там, где татарин, хохлу делать нечего!

* * *

Чтобы повысить боевую эффективность роты, Бутейко решил наш расчет сделать «кочующим». Мы должны были действовать теперь совершенно самостоятельно на переднем крае батальона, выбирать огневые позиции, смотря по обстановке, и вести огонь во взаимодействии со стрелковой ротой.

Теперь командир стрелков, имея минометный расчет непосредственно возле себя, мог при необходимости поражать цели минометным огнем. Появился, например, у фашистов

снайпер, который укрылся за подбитым танком, — кроме как навесным минометным огнем его ничем не достанешь. Или заработала новая пулеметная точка у гитлеровцев — опять же нет против нее лучшего средства, чем навесные мины. Прибежит из стрелковой роты связной: появилась цель, которая укрыта, к примеру, за подбитой пушкой, — мы без волокиты хватаем на вьюки свой миномет и спешим на выручку, как «Скорая помощь». Глаз на определение точной дистанции до цели уже наметан. Работая все время вместе — Суворов, я и Худайбергенов Фуат, — мы третьей миной поражали цель.

Главное преимущество кочующего минометного расчета — оперативность: не успеет враг освоиться на новой огневой, как мы его тут же накроем своим навесным огнем. Из-за постоянной нашей кочевки мы были неуловимы для фашистов.

Через дивизионную газету «Вперед!» нашу тактику кочующего миномета распространяли по всем минометным ротам дивизии.

Одно неудобство: очень тяжело минометчикам таскать на горбу вьюки. Особенно неудобной ношей мне казался ствол. Отшлифовался о грубое сукно, блестит, как никелированный, и мало что тяжелый — двадцать килограммов, так еще и выскальзывает из рук, как налим.

Надумал я таскать ствол за собой на поводке. Привязал веревку к шаровой пяте — и вперед! Ствол скользит по мерзлой земле, а по снегу даже обгоняет меня. Вот благодать-то! Комроты Бутейко увидел, как ловко я теперь передвигаюсь, и говорит:

— Следи только, чтобы чехол со ствола не слетал, а то песком забьешь ствол и зеркало испортишь.

Я рад-радешенек, что комроты вроде бы одобрил мою идею. Но радоваться пришлось недолго.

— Раз такое дело, — продолжает Бутейко, — придется наводчикам вменить в обязанность таскать еще и лоток с минами!

— Есть! — говорю.

Теперь у меня «на поводке» двадцать килограммов да на горбу двадцать два. Товарищи хохочут: «Что, не удалось посачковать, Мансур? Хохол оказался хитрей татарина?»

Но это юмор, на который солдат неистощим даже в самой трудной обстановке. Обстановка же была тяжелейшая. Редко выпадали дни, чтобы в расчете, как положено, было пять человек. Потери мы несли большие: личный состав роты обновился уже дважды. Четвертого номера мы имели от случая к случаю, а о пятом и мечтать забыли. Сами таскали на себе и мины, и лафеты, и плиты. А надо было, так и вдвоем управлялись. Лишь бы только все до единого миномета вели огонь по врагу!

Но все же у нас потери были меньше, чем в стрелковых ротах.

У тех обновлялся личный состав в течение недели-двух. Каждую ночь к ним приходили маршевые роты с пополнением. С тех пор я перестал бояться оставаться с полутора-двумя десятками уцелевших товарищей, надеясь, что «конвейер маршевых рот» будет работать до тех пор, пока мы дойдем до самого Берлина.

Трогательно было ощущать их заботу о нас — минометчиках. Они сами запасались минами, заранее в своих окопах готовили площадку для установки миномета: наше близкое соседство поднимало у них боевой дух. За наши стволы-трубы они прозвали нас «самоварниками»… Поэтому в минуты затишья мы бывали частыми гостями в стрелковых ротах.

Однажды стрелки встретили меня строгим предупреждением, что на переднем крае фашистов появился снайпер — уже семеро наших неосторожных солдат поплатились жизнью. Сел я рядышком с убитыми солдатами и призадумался… Снайпера надо уничтожить!

Сходил в свою роту и рассказал о снайпере Суворову: вот бы, мол, его обнаружить!

— Нашему бы теляти!.. — непонятно усмехнулся Павел Георгиевич. — Трудненько это делается, Мансур!

Единственный способ обнаружения у нас был — наблюдение через «перископ разведчика». Я вооружился тем перископом, вернулся в стрелковую роту и приступил к длительному и трудному наблюдению фашистского переднего края и нейтральной полосы.

Сколько ядовитых реплик о бесполезности моей затеи выслушал я в тот день! Воронки, трупы, изуродованная техника — в этом хаосе обнаружить притаившегося снайпера — иголку в стоге сена найти! Сотый раз шарю перископом по бесконечной равнине, фиксирую в памяти контуры подозрительных кочек.

— Померзнет, померзнет и уйдет! — слышу за своей спиной.

Это о снайпере. Не знаю, как он, а я действительно замерз, да и глаза устали.

Пока я прыгал по траншее, согреваясь, один молодой комроты, увлеченный моим примером, тоже припал к окуляру, но быстро ему надоело это дело, и, приняв вид озабоченного более серьезными делами, сгорбившись, комроты подался вдоль траншеи, грозно, по-командирски бросая встречным: «Осторожно! Не высовываться мне!»

А меня азарт взял. Как свою ладонь, изучил мельчайшие детали равнины и уже узнавал их, в очередной раз просматривая слева направо, с каждым разом сокращая число наблюдаемых точек, сужая круг…

И к полудню я остановился на одной «кочке». Глазам не верю

— это он! Теперь уже боюсь потерять: а вдруг переползет на запасную огневую точку!.. Суворов подоспел вовремя! Не отрываясь от перископа, я ему доложил обстановочку. Решили использовать винтовку одного старого солдата-сибиряка.

— Мой винт бьет без промаха, — сказал тот, передавая винтовку. — Отдали бы мне ее после войны в тайгу! Не надо бы мне ни ордена, ни медали, а только бы эту «централочку»!..

Ухоженную «централочку» осторожно уложили на мой бруствер. Суворову теперь надо было спровоцировать снайпера на выстрел, чтоб выиграть у него десять мертвых секунд, пока он будет перезаряжать свою винтовку.

Торопясь, Павел Георгиевич обвязал платком саперную лопатку, грязью намазал на ней глаза, рот и, нахлобучив на нее свою ушанку, осторожно стал высовывать за бруствер… «Кочка» встряхнулась, лопатка звякнула. Я молниеносно приложился к ложе «централки» и выстрелил. «Кочка» осела чуть-чуть, а со стороны фашистов сердито застрочил пулемет. Наши пулеметчики огрызнулись тем же.

Маленько погодя, когда все стихло, в сторону «кочки», смотрим, ползут, как ящерицы, две фигуры. И этих фрицев мы приморозили, а как стемнело, слазали к убитому снайперу наши смельчаки, принесли трофеи. В блокноте снайпера увидели мы неприятную для нас «бухгалтерию» — 87…

* * *

Но в эту же ночь я крепко проштрафился.

На нашем участке ожидали попытки окруженных немцев прорваться к западу. Спать в окопах было приказано по очереди. Но трое суток уже прошло, как мы ждем прорыва, а немцы вроде и не думают об этом. Ну и бдительность стала притупляться. Не мне бы после утомительного дня охоты за снайпером проявлять такую инициативу, но уболтал я все же своего любимого командира, уговорил его поспать первым.

В общем, Суворов уснул. Я же уснул так незаметно для себя, что много лет спустя и теперь не пойму, как это я мог мгновенно потерять свое сознание. Упал в обмороке после напряженного дня? Как убитый, лежал в этом состоянии, перешедшем в глубокий сон? Не знаю. Но больше никогда не случалось со мной такое…

Немцы пошли сплошной лавиной, колоннами на прорыв из окружения через наши головы — со своими танками, машинами, тягачами.

Наши артиллеристы открыли огонь и подожгли два десятка танков и машин.

Но немцы напирали.

Наши стрелковые роты отходят назад. Все наши передовые подразделения, не выдержав сплошного натиска немцев, организованно и медленно, но отходят назад, прижимаясь ко второму эшелону нашей оборонительной линии, чтобы дать возможность ему использовать всю свою достаточно сильную огневую мощь…

А мы спим. Вижу весь этот реальный бой в своем глубоком сне. Сознание мое воспринимает бой как сон и не требует, чтоб я проснулся. Но еще какая-то совершенно независимая бдительная клетка моего мозга откуда-то из непостижимой глубины кричит мне: «Проснись! Это не сон!» Кому верить? Проснуться или нет? «Открою хоть глаза», — решил я.

Разлепил я глаза, не сплю, кажется, а картина сна продолжается без изменения… Что же это за дьявольщина?!

Суворов тоже проснулся.

— Ну что, Мансур, как дела?

— Фашисты прорвали оборону, — пробормотал я.

— А мы с тобой спим?!

Суворов сначала осторожно слушал, как над нашими головами двигались немцы: танк, который горел перед нашим окопом, заставлял их обходить его, и мы оказались в «мертвой зоне». Это нас спасало теперь, когда мы проснулись.

Суворов приказал мне сидеть смирно, а сам потихоньку высунулся и замер. Потом сполз обратно, и мы стали держать военный совет.

Моя слуховая ориентация во сне меня не обманула. Судя по тому, что удалось Суворову увидеть наверху, фрицев остановили на рубеже второго эшелона нашей оборонительной линии. Грохот боя от нас не удаляется, стоит на месте в двух-трех километрах от нас — там, где наш второй эшелон. Нам необходимо подождать еще пару часов, и если полк не вернется сюда обратно, то нам с Суворовым придется, пока ночь, самим пробиваться к своим… Но мы были уверены в том, что наши должны вернуться сюда и загнать немцев обратно в «котел».

Суворов высунулся опять на свой НП, а я притаился на дне окопа со своими думами… И думы мои были печальными. Как же это так я отключился и уснул на своем посту? Ненавижу себя за это! Хоть бы сам один теперь страдал, было бы не так стыдно. Суворова жалко. Он не бранит меня, а мне еще тяжелей от этого. Он, наверное, сейчас думает так: «Сам я виноватый, что доверил Абдулину дежурство. Что с него возьмешь? Несерьезный,

безответственный этот Мансур, сопляк еще. Если благополучно выберусь из этой истории, то больше с Абдулиным не буду дружить. Откажусь от такого беспутного шалопая. Ничего нельзя доверять ему — спит на ходу…»

Сижу я и разбираю себя по косточкам. И делаю вывод: «Да, на сон я падкий, и никак я не могу терпеть ночью без сна! Да, Суворову такой друг, как я, не нужен. Я и сам себе не нужен такой! И в самом деле, почему я такой непутевый? Если благополучно выпутаемся из этой ловушки и вернемся в свой батальон, то и комбат спасибо не скажет! Отберут у меня медаль «За отвагу», исключат из партии… Худо дело. Худо».

Я застрелился бы давно, но не хочу совершить еще одну подлость по отношению к Суворову… Сам себя кончу и его оставлю одного в этот опасный момент!

Грохот боя слышу все время. Горят немецкие танки, фашисты двигаются разрозненными колоннами, в одиночку и мелкими группами на запад. Наши артиллеристы, чтобы остановить, достают их здесь, в глубине, осколочными снарядами и минами. Взрывы вокруг нас методично уничтожают живую силу противника… Можем, кстати, и мы от своего снаряда туда же…

Но вот отдельные группы немцев стали отходить назад. Галдеж немецкой речи, взрывы, сердитый рев моторов вражеской техники, дым от горящих танков и взрывов, пыль мерзлой земли, оседающая сверху, стоны раненых врагов — все смешалось в грохоте ночного сражения.

Вот уже и вся масса немецких войск остановилась и стала качаться то вперед, то назад… Чувствовалось, что там, впереди, непреодолимый заслон… Потом серая лавина немцев, набирая скорость, потекла назад, в «котел»! Наша берет!

Грохот основного боя стал приближаться к нам. Через полчаса донеслась уже ядреная русская матерщина, от которой даже у меня мурашки побежали по спине! Милые наши мужики-солдаты! Материте и меня за то, что я тут сижу-посиживаю, а вы там лишаетесь своих животов и добываете мне освобождение из этой ловушки! Сердитые сейчас наши солдаты, и не простят они, что спал я тут сладко!..

Суворов спустился, взял несколько гранат-«лимонок», диски к автомату и деловито говорит мне:

— Будем зарабатывать помилование от своих… Вставай!

Я тоже пожадничал, набрал без меры гранат и дисков и рядом с Суворовым приготовился открыть огонь. Жду, когда начнет командир.

Фашисты отступают по своим следам, но автоматным огнем можно их доставать. Бегут, гады!

Чуть-чуть подождали мы еще и, когда почувствовали самый критический момент, открыли встречный огонь по отступающим фашистам. А у них уже не оставалось времени заняться нами. Они только подальше стали обтекать наш окоп с обеих сторон.

По немцам открыл огонь еще кто-то.

Автоматы накалились. Стараемся следить, чтобы со спины фрицы нас не накрыли. Потом опять сложность — как бы не зацепить своих, которые уже близко…

И вот наконец мы повернули автоматы в спины фрицам, и наш с Суворовым тыл стал обеспеченным, то есть за спиной у нас — свои! Потеряв половину личного состава, батальон наш вернулся на прежние позиции.

Таким образом, в продолжение одной ночи мы с Суворовым, не сходя с места, побывали в тылу у гитлеровцев. Солдаты, измотанные окопной жизнью, и при артналетах ухитрялись спать, а сейчас нас беспокоит шум трамвая под окнами…

Командир роты был рад видеть нас живыми:

— Вы же не удрали, а наоборот! — и рассмеялся. Но комбат мне сказал:

— Лишаю награды за уничтоженного снайпера! — И я рад был, что легко отделался: за такой грех шкуру снять было и то мало.

Наша братва, конечно, зубоскалила кто как мог. Мы на несколько дней стали объектом неистощимого солдатского остроумия.

Суворов же, когда все кончилось, только головой покачал:

— Кто-то из нас с тобой родился в рубашке, Мансур.

Холодно

Рассвело. Фашисты сидят в «котле» смирно. Пошел мокрый снег. В окопах стало сыровато. И мы все притихли. Снег тихо опускается на землю…

Впереди нас, в «котле», пять курганов, занятых немцами. На ровной степной поверхности курганы неразличимы глазу. Но на карте севернее Карповки они помечены как «высота 126» и так далее.

Полку приказано овладеть пятью высотами и закрепиться на них. В назначенную минуту наша артиллерия открыла огонь, и стрелковые батальоны начали выдвигаться вперед к рубежу атаки. Было это в самые первые дни декабря. Снег в ту зиму был глубокий, не ниже сорока сантиметров, а в низинах еще глубже.

Прекращение артогня — сигнал для атаки. Батальоны поднялись и с криком: «Урра! За Родину!» — пошли вперед.

Атака развивалась успешно, и, не встречая сопротивления гитлеровцев, мы продвигались к «пяти курганам»…

Фашисты отступали трусливо… «Вымотались фрицы, в окружении не хотят воевать», — помню, подумалось мне.

Ну, раз сопротивления нет, ротам и батальонам не захотелось «пахать целину» глубокого снега. Мало-помалу солдаты перестроились и пошли не цепью, а колоннами поротно — каждый старался идти где поутоптанней. И так получилось, что не мы свой строй держали, какой нам надо, а дорога, постепенно втянувшая в себя все боковые дорожки, построила нас в одну длинную колонну. Полк теперь продвигается к курганам в колонном строю… Все сбились в кучу, мешая друг другу…

Еще километр пути — и курганы окажутся в наших руках! Пожалуй, впервые мы на Донском фронте так легко тесним фашистов. Впервые немцы отступают без боя… «Если теперь фрицы так будут воевать, то Сталинградская битва закончится нашей победой через неделю», — подумалось опять.

Весь наш полк достиг нужного места. Теперь осталось только «опоясать» курганы батальонами и закрепиться… Вот здорово!

В этот момент — со всех сторон одновременно — фашисты открыли пулеметный и артогонь.

Солдат не может видеть общей картины боевых действий в масштабе, скажем, дивизии. Солдат охватывает сознанием то, что видит воочию да понимает по командам и звукам, близким и дальним. Поэтому я не берусь передать общий ход того боя, ибо легко мне будет впасть в ошибку. Опишу лишь то, что успевало охватывать мое сознание.

Наш полк, как огромное живое существо, закружился вокруг своей оси… Куда ни сунься, отовсюду брызжут свинец и снаряды. Ревут душераздирающим воем шестиствольные гитлеровские минометы, от мин которых нет спасения: косит осколками во все стороны…

Я быстро сообразил: «надо выбраться из этой толкучки и рвануть в направлении любого кургана, а лучше всего назад с надеждой, что по одиночным целям гитлеровцы не будут отвлекаться. Мы с Суворовым бросились от общей массы людей в сторону, чтоб выйти из зоны обстрела-расстрела. Сунулись в глубокий целиковый снег. С нами еще пять-десять человек. Тело вязнет в глубоком снегу, но здесь, метрах в ста, мы уже не привлекаем к себе огонь. Чтобы было нам легче двигаться по глубокому снегу, мы сбросили с себя шинели и даже ватные телогрейки! И в самом деле, в нас немцы не стреляли. Мы выскочили из мышеловки живыми, но мокрыми, как из воды.

Теперь, со стороны, видней панорама нашей катастрофы. Фашисты умело заманили нас в мышеловку и расстреливают по-деловому, по-хозяйски… В такой ситуации люди, попавшие в мышеловку, могут физически затоптать друг друга. Совершенно неуправляемым стал полк. С курганов ведут огонь немецкие танки, спрятанные в ямах, — нашему минометику не по зубам. Торчат у танков из ям только башни. Попробуй возьми их! Глядеть жутко, как погибает полк. За свою беспомощность нам обидно…

И вдруг мы услышали нарастающий гул дизелей, а потом и увидели наши танки — двадцать-тридцать штук! Сзади них на лыжах и в маскхалатах, как призраки, легко мчатся автоматчики, держась за веревки, привязанные к броне… Вот это здорово! Перед нами словно из-под земли выросли наши солдаты во главе с симпатичным капитаном. Все солдаты у капитана чистые и одетые «с иголочки» в шикарные белые полушубки. У всех новенькие автоматы. Я догадался — это «заградотряд»! Не успел я проститься с белым светом, как капитан дружески пожал мне руку и с эстонским акцентом спокойно говорит: «Никто не сабираица вас растреливат! Вы не струсили, а вырвалис ис сасады!» Мы немного успокоились, не веря своим ушам и глазам. А капитан, увидев, что от нас валит пар, как будто мы из бани, и наши гимнастерки мокрые, хоть отжимай, по-приятельски советует: «Теперь снимите с убитых телогрейка и шинель и сахадите наш блиндаж, там ест печка».

Что мы и сделали. Рядовые «заградчики» нам рассказали о своем капитане. Он, оказывается, эстонец, по фамилии Тукхру, Ян Янович…

Бывший командир заградительного батальона, а теперь генерал-майор в отставке Тукхру Иван Иванович, прочитав мою книгу, в которой он увидел и свою фамилию, пригласил меня к себе в гости в город Таллинн. После того как мы вспомнили о наших победах и неудачах на нашем большом боевом пути и об этом эпизоде, я решил услышать от него ответ на не дающий мне с тех пор покоя вопрос — почему он никогда не расстреливал «паникеров», в том числе и нас на «пяти курганах»?

— Иван Иванович, объясните мне, почему вы никогда не расстреливали отступающих, в том числе и лично меня с товарищами, в отличие от других «заградчиков»?

— Мансур, а ты обратил внимание, кто командовал теми «заградчиками»?

— Нет, не обращал внимания.

— Отвечаю на твой вопрос — потому что я эстонец. — Мысленно перебираю тех командиров, которые рьяно выполняли приказ № 227 — «Ни шагу назад!»… И в самом деле, среди них не было ни одного эстонца… — А мое начальство в то время подозрительно относилось к моему нежеланию выполнять приказ и считало это «самодеятельностью»…

Через час бой кончился. Курганы наши, но никто не может смотреть друг другу в глаза… Позор-то какой! Всю ночь напролет нас посещало командование.

Рассказывают солдаты, что у соседнего полка обстановка была не менее сложной, но в тяжелый момент появился среди солдат начальник штаба капитан Билаонов Павел Семенович. Его громовой голос и решительные действия заставили пехотинцев остановиться и залечь. Билаонов сначала остановил батальон, а потом организовал контрнаступление. Личным примером, бесстрашием подчинил всех своей командирской воле. Отступившие два батальона, видя такое дело, вернулись на свои прежние позиции.

А нашего командира полка заменили.

Было уничтожено 13 фашистских танков, 6 артиллерийских орудий, 8 минометов. Живыми взято в плен около ста немецких солдат.

«Пять курганов» дорого стоили нам.

* * *

Утром мы потеряли солдата Гарипова Ахмета. Еще вчера вечером его видели наши ребята с котелком горячих углей… Его нашли уснувшим под плащ-палаткой, которую он сделал

балаганчиком над котелком с углями. Угорел, бедняга…

Пожилой узбек Латып-ака, горестно вздыхая, качал головой:

— Ай, Гариб, Гариб! Хотел маленький Тошкент делать! Наше узбекский сандал делать хотел… Сандал — ето ям. Много жар-угл. Потом вся семья и гости ляжет кругом сандал, все закроются много одеял… Сандал хороше будет, тепло будет, только нада нога и живота под сандал, а голова нада на улиця, чтоб свэжий воздых дышат. Если голова прятит под сандал, умырал будеш. Гариб свой голова прятит… Плохо умрал. Умрал нада, когда совсем аксакал будеш… Когда пятнадцатый ребенка вирастил… Гариб, Гариб, какой дурной голова тибе дал аллах… Люче от пуля нада был умрал ему… в бою…

Я слушал пожилого узбека и вспоминал, как летом в училище падал в обморок от ташкентского зноя. Большая у нас страна. Одни к жаре привычней, другие к морозам. В декабре сорок второго под Сталинградом доходило до минус тридцати-сорока. Можно, конечно, и минус пятьдесят человеку выдержать, и минус семьдесят. Без ветра. А тут ветер степной, и одна защита — окоп. Я по рождению сибиряк, и то еле терпел. Узбеков с юга лучше бы не посылать сюда в морозы, а поберечь их до лета. Но когда враг прет со всех сторон, когда над страной нависает угроза фашистского ига, нет места подобному расчету.

Рядом в стрелковой роте тоже ЧП. После вчерашнего боя солдаты нашли в поле рядом с окопами круглую, как люк танка, дыру. Из дыры поднимался теплый запах жженого кирпича, как от только что сложенной и в первый раз затопленной печки. Дыра при дальнейшем исследовании оказалась входом в просторный отсек наподобие горшка пяти-шести метров в диаметре, образовавшийся в результате взрыва фугасной бомбы. Глинистый вязкий грунт раздался от взрыва в стороны, спрессовался, как кирпич, и внутренние стенки «горшка» прожарились, только узенькие трещинки в них… Самые бойкие и нахрапистые солдаты роты решили выспаться, «как у Христа за пазухой». Спустились туда восемнадцать человек и уснули навсегда: оказалось, что из мелких, но глубоких трещин продолжалось выделение окиси азота от взрыва. Ну кто мог знать о такой опасности? Знать могли шахтеры. Я шахтер, допустим. Найди я этот «горшок» — прекрасную спальню, я забыл бы, что я шахтер, — первым бы спустился захватить себе место… И когда ума наберемся?

…Стояли тридцатиградусные морозы, от которых немцы подыхали как тараканы, но и нам, сибирякам, было уже невтерпеж. Как назло нам давно не привозили тыловые «крысы»-интенданты «наркомовских». Я получил задание от ротного: «Пока ночь, сбегай в штаб полка и доложи самому командиру

полка». К рассвету я благополучно вернулся в свою роту и увидел страшную картину: все сорок человек во главе с ротным были мертвы. В блиндаже ротного я обнаружил немецкую канистру с остатком незамерзающей жидкости «антифриз», пахнущей спиртом… Я, как парторг роты, доложил по связи комиссару батальона о случившемся. Он, во избежание для себя и комбата неприятностей, в течении недели «списывал» отравившихся как героически погибших в боевых действиях, иначе они с комбатом были бы лишены очередных наград и званий….

* * *

Снег падает легкими пушинками. А среди дня заморосил мелкий, водяной пылью дождь. Совсем сыро стало в окопах.

Хорошо, что на днях фашистские транспортные самолеты, которые продолжали свои ночные полеты, сбросили нашему батальону очень ценный груз. Сапоги утепленные. Или лучше их назвать «бурки», на кожаной подошве, с кожаными головками валенки. Удачно сшиты: теплые и сырости не боятся. Для такой погоды, как сегодня, это лучше, чем наши валенки. Мы все с превеликим удовольствием хорошо обулись.

А фрицы злились, что их бурки достались нам. Ночами кричали:

— Рус, отдавайт валенки, возьмить автоматы! (У нас и автоматов было немецких полным-полно, и патронов к ним сколько хочешь.)

Ногам-то хорошо, но сверху нас мочит сырым снегом и дождичком. Плащ-палатки порастеряли вчера. Что делать?.. Во-о-н там, на нейтральной полосе, я вчера видел распоротые тюки, сброшенные фашистами для своих, с разным тряпьем. Кажется, там есть плащ-палатки…

От наших передовых окопов не более чем в двухстах метрах лежат кучами новенькие плащ-палатки. Сбегать бы, но… Крутился я, вертелся и все ждал, что, может быть, кто другой попробует туда сбегать, и если все обойдется благополучно, то и я сбегаю на нейтралку. Кивнул я на те палатки Суворову, он дипломатически промолчал, а я уже оказался в неловком положении: как будто я сам боюсь туда сбегать, а Суворову намекаю… Лучше бы уж и не заикаться мне! А теперь придется сбегать, иначе повиснет на мне ярлык «трус»…

Думая так, я сам не заметил, что уже шагаю по нейтралке. Подошел к распоротому тюку и только тогда огляделся — где же «передок» фашистский? Как бы на мушку снайперу не угодить!

Если первой пулей не смажет, я успею удрать. Но кругом тихо, ничего подозрительного. Наверное, далеко вчера драпанули немцы!..

Потянул палатку за уголок из-под всякого барахла — тут-то они и выросли как из-под земли. Несколько фашистских солдат. Со страху мне показалось — человек семнадцать. Горло перехватило спазмом. Хвать, а оружия-то при мне никакого! Даже пистолета нет, который мне подарил полковник-танкист.

Немцы меня полукругом обогнули, зубы скалят, о чем-то смеются между собой — решили позабавиться.

За секунду в моем мозгу много чего пролетело, хорошо, хоть глаза не затуманило от страха. В двух шагах впереди приметил яму, а в той яме — открытый ящик с ручными противопехотными гранатами.

Немцам те гранаты в моем положении и в голову не пришли. Вон их сколько, а я один. «Рус Иван! Рус Иван!» — хохочут. Крутят пальцем у виска: мол, и дурак же ты, что приперся сюда за плащ-палаткой! Видно, соскучились тоже в окопах, решили повеселить своих, которые наблюдают за этой «комедией»… Ой-ой-ой, да ведь и нашим видно!.. Хоть бы мне успеть одну гранату схватить и выдернуть предохранительную чеку за шнурок, который торчит из длинной деревянной ручки. Нет, не торчит, еще надо успеть отвернуть на конце этой ручки колпачок и достать «пуговку», привязанную к концу шнура!.. Схватился я за живот, будто желудок у меня расстроился со страху, сиганул в ту яму и уже с гранатой в руке понял: немцы или не знают про ящик, или слишком много «приняли для сугрева» и решили, что одного Ивана в чистом поле бояться нечего.

Только бы успеть до их первого выстрела! Мозг соображает, а руки автоматически делают свое дело. Пока немцы веселились, «Го-го-го» да «Хо-хо-хо», «Иван капут! Иван, снимайт валенки-и!» — я больше десяти гранат приготовил. Два автомата, припорошенные снегом, тут же. Не пустые ли?! Чуть присел, на ощупь вынул магазин. Патроны сидят туго — значит, полный. «Ну, пошел!» — командую себе, и гранаты полетели с такой скоростью, что первая взорвалась, когда я кинул третью. Кидаю их, как раскаленные угли, будто боюсь обжечься. Потом с автоматом выскакиваю из ямы и даю очередь, не успев еще разглядеть ничего на том месте, где какие-то секунды назад корчились от смеха фрицы.

Теперь они корчатся не от смеха!

Уже назло — мне давно не холодно — хватаю угол палатки и, петляя как заяц, уношу ноги. Вдогонку несколько пуль все-таки вжикнуло…

Кубарем скатился в окоп к Суворову. Командир мой любимый взвыл от радости и начал меня бить кулачищами, пинать — видно, сильно перестрадал, наблюдая мои приключения.

С того случая, даже если долбил для окопа мерзлую землю, автомат мой висел у меня за спиной. Пусть и мешает работать, но не расставался я теперь с личным оружием никогда, ни на минуту!

* * *

А ночью пришли на нашу сторону парламентеры из румынской, кажется, бригады. Комбат вызвал меня на свой КП, чтоб парламентеры увидели меня своими глазами. Оказывается, они наблюдали днем, как я из-под носа у немцев уволок плащ-палатку. Парламентеров восемь человек, и, как мне показалось, все они были в толстых черных свитерах, а сами похожи на наших грузин или армян: на КП было не очень-то светло от светильников из гильз, заправленных соляркой. Ну, посмотрели, чего-то поговорили между собой, и ладно. Комбат меня отпустил.

А приходили они, оказывается, договориться об условиях сдачи в плен — в следующую ночь несколько сот человек из их бригады сложили на нашем участке оружие.

Парламентеры сообщили командованию много ценных сведений, видимо, показали схему расположения немецких войск в полосе боевых действий полка и дивизии. Результаты работы нашей артиллерии по указанным позициям мы увидели через несколько дней, когда пошли вперед. А еще они показали комбату постоянное место раздачи горячей пищи, куда ровно в 23.00 подъезжает немецкая походная кухня.

Комбат эту кухню передал нам, минометчикам. Когда мы сверили данные парламентеров с нашей огневой схемой, то оказалось, что если сделать поправку угломера от цели № 3 вправо на 0 — 20, кухня будет разгромлена в пух и прах.

Подвезли мы к огневой позиции трофейных мин — на каждый миномет по тридцать штук. Вдвоем с лейтенантом Стукачом осторожно выдвинулись на НП чуть ли не вплотную к немецкому переднему краю и притаились. Ночь была светлой, хоть месяц висел тоненьким серпом… Да, ровно в 23.00, как и было сказано, подъехала походная кухня. Немцы с двумя-тремя котелками каждый стали подходить со всех сторон. Повар работал не торопясь. У кухни скопилось не менее сотни человек: сколько убывало, столько и прибывало.

Все девять наших минометов открыли беглый огонь

сосредоточенным веером. Фашисты получили сполна своих же мин, которых мы не пожалели…

Убивать радости мало. Но зачем они шли к нам в наш дом? Зачем несли на нашу землю смерть и горе? Рассчитывали, что мы сдадимся им без боя? Видел я их потом, покидающих Сталинград, — извилистые колонны обмороженных, гниющих полутрупов. Подумалось, помню, что ведь у каждого есть мать, которая ждет… Внезапная жалость перехватила горло. Но тут же отпустила. А с какими мыслями, с какими надеждами мать провожала его к нам? И чего ждала от нас?

…Измотал опять голод. Кухню разбили немцы. А тут еще Гитлер прекратил обеспечивать армию Паулюса харчами с воздуха, и у нас не стало трофейной провизии. Пошел я к одному своему приятелю — комхозвзвода старшине Смирнову. Приятели мы были с Малой Елшанки, где полк стоял несколько дней на пути к фронту.

…Там, в Малой Елшанке, вместе с остальным обмундированием выдали нам обмотки. Увидел я их впервые: до того дня курсанты носили носки. Не вылазит из головы один вопрос: как будут держаться на ногах эти скользкие трикотажные ленты, если ноги сужаются книзу? «Вот если бы они книзу расширялись, тогда бы проще», — думаю я. В училище мы обмотки не проходили. Не опозориться бы! Наматываю туго-натуго, с применением всей своей силы шахтера-забойщика. Чтобы не сползли! Ноги сразу одеревенели, но решил терпеть. А тут команда строиться — и на тактические учения с противогазами, которые тоже были выданы. Шагаю — ног не чувствую. Ну, промаршировали с километр, вышли за деревню — и я упал, взвыв от острой боли в коленках. Старшина подбежал и сразу понял, в чем дело. Быстро развязал завязки, и обмотки, как стальная пружина, распустились. Ноги мои под брюками — синие и похожи на гофрированный шланг противогаза, и у старшины лицо сделалось похожим на маску противогаза. Минут десять он массировал мои ноги, пока закололо их наконец миллионами иголок и синева стала отступать. Старшина растирает мои ноги и крепко матерится: «Заставь дурака богу молиться — он лоб расшибет! И какую силищу надо иметь, чтобы вот так скрутить, а?..» С полчаса рота ждала, пока я приседал и прыгал под испуганную команду старшины. Видно было: он рад, что все кончилось благополучно, но начинает догадываться, сколько еще сюрпризов можно ему ожидать от курсантов, которые трехлетнюю программу овладения солдатской азбукой проглотили за шесть месяцев… Сам намотал мне обмотки — совсем слабо, мягко, заткнул мою ложку за обмотку и приказал: «Не трогать!»…

Теперь я нашел его в глубокой балке, где он надежно укрылся сам и весь его хозвзвод с конями и двуколками. Сидит старшина Смирнов Николай Александрович в бетонированном блиндаже как султан-хан: сытенький, тщательно выбритый, с двойным подбородком. Испуганно сверлит меня взглядом, наконец узнал:

— А, Мансур, проходи, садись. Живой еще?

— Слушай, Смирнов, я жрать хочу.

— А у меня ничего и нет пожрать, сами с голоду опухли.

— Хватит шутить, дай хоть сухарик… для Суворова.

— Нету ничего, я серьезно говорю. Сам знаешь, Мансур, кому-кому, а тебе сроду бы не отказал.

Сижу и думаю: врет или нет? Но вспомнилась его заботливая скороговорка на том берегу Дона перед первой нашей передовой, когда он нашел нас обессилевшими и лежащими на земле пластом: «Хлопцы, не жадничайте! Срежет живот! Сколоти начнутся, не дай бог. А лучше сосите помаленьку. По крошечке пропустите…» Вспомнилось, что он коней кормил хлебом, чтобы только довезти его до нас, а сам голодал: «Не мог смотреть на хлеб! Я буду сытенький, а рота с голоду заморилась…» И стало мне совестно, что сомневаюсь в человеке. Может, и правда опух он.

А Смирнов будто хватился, говорит:

— Хочешь, комбикорм я тебе дам? Лошадиный.

— Давай.

Через пять минут занесли хозвзводники мешок. В мешке брикеты — смесь мякины овсяной с мукой. Колючие, как ежики. «Что ж, — думаю, — тогда кони ели наш хлеб, теперь наша очередь попробовать их корма…»

— Положи в котелок с водой, — наставляет меня Смирнов, — вскипяти, отожми мякину, а кисель выпей… Можно голод обмануть.

Взвалил я на свою горбушку мешок с комбикормом и ходу домой. Сварили мы всей ротой несколько брикетов в котелках и с голодухи съели вместе с мякиной, которая вроде бы обмякла, и мы думали, обойдется.

Через двое-трое суток началось непредвиденное. Хочется сходить по-большому, а больно! Отставить! Но ведь опять хочется. Начнешь — боль режет, как когтями. В глазах темнеет. А, будь что будет — никуда ведь не денешься!.. Реву, как боров под ножом, на всю передовую… Потом, согнувшись, постанывая, поджав живот, иду «домой» в окоп, как после операции тяжелой — в палату. «Ну, — думаю, — не фрицы меня убьют, так убьет меня моя глупость… Зачем я мякину-то сожрал? Ведь говорено было!»

И остальные отделались точно так же: слышно, то там, то в другом конце кто-то взревет…

* * *

Конец ноября 1942 года. Наш полк потерял много людей, а пополнение пришло из Среднеазиатских республик. Узбеки, таджики и другие наши друзья из теплых краев, оказавшись без зеленого чая на тридцатиградусном морозе, да вдобавок не понимая, за редким исключением, русский язык, умирали молча, как мухи. Немцы на другой день после их прибытия через громкоговорители стали шутить: «Иван! Давай менять узбеков на румын!»

Рано, чуть свет на нас обрушился сплошной шквал артминометного непрерывного огня. С воздуха нас утюжат бомбардировщики. Душераздирающего рева летящих мин и снарядов, казалось, было достаточно, чтобы парализовать нашу волю. Земля, будто сырая резина или холодец, дрожит и трясется, дышать стало нечем от того, что словно весь кислород сгорел в огне взрывающихся бомб и снарядов. Я, оглохший, как и все мои товарищи, залез, а вернее, заполз в свою «барсучью» нору, вырытую из траншеи, оставив наружу свои ноги: в случае, если меня придавит обвалом, меня смогут вытащить. Хорошо, что тут земля была достаточно твердой и крепкой и пока наши норы выдерживали. Правда, пока копали, наша земля-матушка много перетерпела от нас, с кровяными мозолями на ладошках, «матов-перематов», а теперь я в спасительной норе вымаливаю у земли-матушки прощение… Взрывы надо мной частые, и мне кажется, что все они над моей норой. А мы-то всегда утешали себя байкой, что в воронку снаряды дважды не падают… Я уже много раз бывал в подобной ситуации — под минартналетом — и каждый раз думал: «Ну, паря! На этот раз, наверно, тебе будет хана!» Мной опять овладел страх: не остался ли тут на этот раз один?! И я выскочил из норы, как суслик, чтобы за полсекунды оглядеться и оценить сложившуюся обстановку: «Уж не удрали ли все из этого кромешного ада, и если удрали, то и я не рыжий!» Но так высовывался на полсекунды и каждый из нас — всем страшно, и все сомневались. Я увидел, что мои соседи не удрали и живы. Немного пристыдив себя, я снова нырнул в нору. Налет, как внезапно начался, так внезапно кончился. Мы все, кто живой, высунулись и поняли, что многие из нас остались в своих норах навсегда — и хоронить не надо… Не успели мы погоревать и порадоваться, как уже фрицы и их союзники своими «волнами»

пошли на нас в штурмовую атаку. В первом ряду идут румыны, во втором — немцы, в третьем — мадьяры, а за ними опять немцы. На нейтральной полосе произошла страшная картина: румыны, мадьяры подняли руки вверх, а немцы их стали расстреливать. Часть немцев перегруппировались и продолжили свою атаку. И мы встретили их дружным пулеметным и минометным огнем. После неудачной атаки они еще раз нас накрыли огнем из всех видов своей артиллерии. А мы опять ныряем в свои норы… Так мы держались, как зубами, за этот рубеж десять суток без воды, хлеба, махорки и кухни.

Снег перемешался с землей, и мы не могли натопить из него воды. Все наши тылы были разбиты. Мы оказались без телефонной связи, отрезанные от всего мира. Немцы в «котле» себя чувствуют гораздо лучше, потому что у них там населенные пункты с колодцами. Кто-то из наших находчивых солдат сбегал в балку и там на самом дне под грязным снегом докопался до талой земли. Он подождал, когда грязная и вонючая вода наберется, вычерпал ее себе в котел и, конечно же, напился сам. Потом, набрав еще воды, принес нам. Я поднес котелок к носу и чуть не потерял сознание — пахло тухлыми яйцами! Но мы выпили всю воду и так при первой же возможности бегали с котелками туда за тухлой и горькой водой несколько раз. Потом, когда промерзла первая лунка, раскапывали следующую до тех пор, пока не наткнулись на немецкие трупы… Многие из нас отнеслись к этому «открытию» равнодушно — «все одно, погибать от пули али от отравы!». Меня тошнило, но не вырвало потому, что я уже трое суток не брал в рот даже крошку хлеба.

Мой друг-балагур успокаивает нас: «Человек на восемьдесят процентов сатаит из вады! В кажном из нас по три-четыре ведра, больше, чем у вирблюда! Без вады прадюжим недели три аль четыре! Без харчей тожи протяним столька жи! Патаму, шта в нас па три пуда ливеру!» За эти десять дней мы превратились в ходячие и лежачие живые скелеты. Через кожу, которая превратилась в пергаментную бумагу, просвечивались наши черепа с большими черными круглыми дырами вместо глаз. Губы высохли, и зубы оставались постоянно открытыми. Кто-то из наших пошутил: «Нам бы теперь в руки взять косы и повесить на груди плакаты «Смерть немецким оккупантам!».

И наконец ночью к нам с тыла приблудилась кухня другого батальона, повар которой хотел было повернуть назад к «своим», но наши хлопцы взяли его в плен и опустошили котел с «чужой» кашей. В ту же ночь перед рассветом к нам прибыли и газетчики с блокнотами и фотоаппаратом-«гармошкой». А у нас нет сил рассказывать, как мы тут стояли… А потом и сфотографировали

нас. Через день мы прочитали в газете о своем героизме, но почему-то не поместили наши портреты. Наш комиссар пояснил так: «Снимки получились нефотогеничными…» Разве можно показывать в газете живые скелеты?!

* * *

Великой радостью было получить из нашего глубокого тыла письмо, весточку, посылку. В каждом ящике со снарядами, минами, патронами мы находили приятные сюрпризы. Тут и записка с адресом для заочной дружбы с девушкой… Тут и кисеты с махоркой. На кисетах вышивка, и сразу видно чья: вышито взрослой девушкой или детской ручонькой. Мужики — пожилые солдаты предпочитают с детскими вышивками, а парни наши — нарасхват те кисеты, которые вышиты невестами. И не ошибались!

В кисете найдешь письмо и фото. Кому повезет — герой дня! Некоторые «герои» сразу пасуют и предлагают письмо и фото кому-нибудь из товарищей. А «пасует» парень потому, что у него дома невеста есть и он давал ей клятву в верности своей…

На кисетах вышиты слова:

«Смерть немецким оккупантам!»

«Ждем с победой!»

«Привет от девчат-комсомольцев колхоза «Заря коммунизма»!

«Отомсти за моего погибшего отца!»

«Отомсти, солдат, за погибшего моего братика!»

И мы, кому доставался такой кисет, обязательно выполняли наказ: следующего же уничтоженного тобой гитлеровца мысленно отнесешь на счет этой вышитой на кисете просьбы. А носили мы их, кисеты, на ремнях поверх одежды, чтоб видно было.

Часто в зимний период под Сталинградом мы получали посылки из моей родной Сибири с теплыми вещами: носки шерстяные, шарфы, рукавицы-«мохнашки» или связанные из шерсти свитера…

Получая посылки с подарками, мы ободрялись. Чувствовали, что здесь с нами, в окопах, вся наша страна…

* * *

28 декабря 1943 года благодаря нашим полковым разведчикам во главе с Богдановым Андреем, которые добыли «языка», стало известно, что гитлеровцы приготовились

«поздравить» нас с наступающим Новым, 1943 годом ровно в полночь 31 декабря. Поэтому наше командование приказало нам срочно занять новые огневые позиции и приготовиться к упреждающему артиллерийскому удару по гитлеровским батареям. В этот день в результате нелегкого, но успешного боя мы захватили у немцев удобную для нас балку, к полночи успели окопаться и вырыть для себя «норы» и «берлоги», в которых собирались хорошенько отдохнуть и выспаться. Наш ротный, чуть ли не со слезами на глазах, выдавил из себя команду: «Рота! Минометы на вьюки!» Мы, до предела уставшие и измученные, сильно расстроились. Но приказ есть приказ. Проклиная все на свете, мы все же обязаны были подчиниться ему и стали «навьючиваться».

Наша огневая позиция превратилась в растревоженный пчелиный улей. Со всех сторон до меня доносятся проклятия судьбе и злобные выкрики: «Хлопцы! Это предательство или в лучшем случае издевательство!» Слышу и ответы: «Да заткнись ты! И без тебя тошно!» Мне тоже обидно до слез, и появляется подленькая мыслишка: «Лучше бы мне погибнуть, чем так мучиться!» Даже мне, девятнадцатилетнему шахтеру, привыкшему с малолетства к тяжкому труду, бывает невмоготу, а каково тем, кто только что окончил девять или десять классов? Или тем, кто никогда не трудился физически? Наконец наша рота во главе с ротным двинулась цепочкой по крутому откосу балки наверх, в степь, где свирепствовал ураганный, сшибающий с ног ветер. Если бы мы не были придавлены к земле своей тяжелой ношей, этот ураган унес бы нас, как перекати-поле, незнамо куда! Песок, пыль и мелкое ледяное крошево вмиг забили нам глаза, ноздри и рот, попали даже под одежду. Тридцатиградусный мороз пробирает до мозга костей. И мне кажется, что я совершенно голый. Наклоняюсь навстречу урагану, чуть не доставая носом до земли, и, теряя последние силы, двигаюсь за ротным. И вдруг как будто кто-то мне в спину, под левую лопатку, воткнул шомпол, который пронзил сердце. Я упал вниз лицом на замерзшую землю. В мозгу промелькнуло: «Ну вот, Мансур, кажется, все!» Лежу, не имея сил пошевельнуться от колющей боли в сердце, даже глубоко дышать не могу — больно! Такого со мной еще никогда не было. Через некоторое время боль в сердце начала утихать. Мне показалось, что кто-то начал вытаскивать из меня шомпол. Постепенно я начинаю дышать все глубже и глубже. Наконец чувствую, что уже смогу встать и продолжать двигаться. Я смотрю на небо и на круглую холодную луну. Черные рваные тучи несутся с севера на юг, похожие на большие дикие табуны монгольских лошадей без всадников.

После получасового мучительного перехода наш ротный взмахом руки дал нам понять, что мы должны тут залечь, как моржи на льдине, а сам со своим связным исчез во тьме, видимо, отправился в стрелковую роту для выяснения нашего местонахождения. Через минут пятнадцать они вернулись, и ротный приказал нам окопаться «в полный профиль». Я взглянул на трофейные карманные часы: было час ночи, до рассвета оставалось не менее восьми часов. Я, как парторг роты, был обязан подняться и начать выполнять и этот невыполнимый приказ, а я не мог — у меня не было сил…

Первыми поднялись мои товарищи Суворов Павел, Худайбергенов Фуат, Латып-ака и другие.

У Суворова в руках пудовая трофейная артиллерийская кирка — двурогая, насаженная на метровое дубовое кайловище. Рога у кирки кривые, по семьдесят сантиметров длины каждый и с продольными ребрами жесткости. Один рог — пикой, другой — стамеской. Благодаря этой кирке наш расчет всегда первым влезал в землю-матушку. Вся рота пользовалась ею, хотя никто не соглашался таскать ее на себе, кроме самого Суворова. Звали мы ее «полундрой». За то, наверное, что была похожа на морской якорь. Все взоры сейчас обратились к этой «полундре». Но Суворов выглядел угрюмым и обреченным. Он стоял, опустив свою бородатую голову на грудь и опершись о кайловище обеими руками. Потом приподнял и, взмахнув бородой, рявкнув, с силой опустил. Вот теперь, когда прозвенела шведская сталь и я увидел сноп красных искр из-под полундры, я окончательно понял, что нам «хана». И все это поняли. Обычно молчаливый Фуат прокричал мне в ухо: «Прапал наше рота!», чуть отошел от меня в сторону и застыл как каменный истукан с тоскливым монгольским лицом. Действительно, пробовать силу после горняка Суворова не имело смысла.

Но командиры взводов Стукач и Исаев суетились между нами: «Давайте, ребята! Давайте! Окапывайтесь!» Мне бы тоже суетиться, я же парторг, но я как заведенный прыгал на месте, чтобы согреться, оцепенело смотрел, как «полундра» эстафетой переходит из рук в руки. Удар! Еще удар! Вот сам Бутейко произвел серию ударов, а в результате лунка всего-то с воробьиное гнездышко. Даже пары патронов аммонита не заложишь в такую лунку…

Многие минометчики, имея при себе только малые саперные лопатки, которыми совершенно бесполезно бороться с мерзлотой, сбились в кучку и, топая ногами, тоже старались хоть немного согреться. Я, еле-еле переставляя одеревеневшие ноги, медленно двигался вокруг столпившихся минометчиков, и, если посмотреть

со стороны, меня можно было сравнить с шаманом, исполняющим свой ритуальный танец во время изгнания злых духов. Но я рассчитывал на то, что нащупаю старую воронку, заполненную сухой травой, под которой, может быть, сохранилась талая земля. Я уже продрог насквозь и чувствую, как у меня замерзли мозги и мысли в них начали вязнуть. Остались живыми только две клеточки. Одна из них уговаривает меня лечь на землю и сладко уснуть, а другая криком кричит: «Не смей!» Я и сам пока еще понимаю, что если сейчас усну, то это — смерть! С великим трудом я делаю шаг, еще один и еще… Делаю, видимо, последний шаг в своей жизни… В мозгу осталась живой последняя клеточка, та, что продолжает кричать: «Держись! И шагай!» И я шагнул еще раз и вдруг наступил на что-то, напоминающее ватный матрац. О! Свершилось чудо! Я наткнулся на толстый, слежавшийся слой соломы или навоза! Ноги у меня подкосились, и я упал на колени. Сердце заколотилось и сладко заныло. Рука машинально вытащила острую, как кинжал (на случай, если придется драться врукопашную), саперную лопатку из чехла, подвешенного на ремне. Я начал остервенело рубить «матрац», чтобы как можно быстрее отворотить этот пласт и добраться до талой земли.

Наконец я отвернул его, и мне в ноздри пахнуло теплым нашатырно-кислым запахом. Я жадно вдыхал этот аммиачный дух. Сначала оттаял мозг. С каждым новым глубоким вдохом у меня внутри становилось теплее и даже жарче. Горячая кровь растеклась под ногтями, и пальцы сильно заломило. Я попытался крикнуть своим товарищам, чтобы они скорее бежали ко мне. Но у меня не было голоса, и получилось только шипение. Я мысленно звал их, чуть не плача: «Хлопцы! Фуат! Идите скорее сюда!» Мои мысли как будто услышали и Фуат, и все остальные: «Что случилось, Мансур? Ты звал нас?» Фуат, увидев над землей пар, догадался о моей находке и, упав обмороженным лицом в трухлявый навоз, затолкал до локтей под «матрац» закоченевшие руки. Прибежали Суворов и Латып-ака и тоже припали к теплому навозу. Суворов шутил: «Мансуру везет на говно! Он родился в рубашке!», а Фуат, отогревшись и развеселившись, начал выступать, как на митинге: «Наша партургам залатой галавам и нашла гаммам!» Сбежались все минометчики, но Суворов предложил им разойтись и поискать еще такие же старые перепрелые навозные кучи. И он оказался прав! Через десять минут над нашей новой огневой позицией валил пар, а еще через час все наши минометчики зарылись в теплую матушку-землю, как под мышку к бабушке.

Бутейко любил обитаться в нашем первом боевом расчете. Вот и теперь спрыгнул в наш уже глубокий окоп, принялся рыть

себе нору. Землю вытаскиваем в плащ-палатке и оборудуем наверху перед окопом бруствер. Я копаюсь на дне окопа и в уме делаю радостный вывод: «Нет, не грешники мы, а праведники на своей родной земле, и поэтому она укроет нас в своей утробе, согреет и отгородит от ураганного ветра и воя».

Нетерпеливо жду от кого-нибудь хвалебной тирады в свой адрес. Люблю, когда меня хвалят, — слабость моя. Но Бутейко помалкивает, Суворов мурлычет-напевает что-то возмутительно-постороннее, Фуат бормочет «Аллага-шекер»…

Задолго до рассвета мы были готовы к бою. Вдруг мы услышали надсадный гул моторов с неба — это немецкие транспортные самолеты везли окруженным фрицам праздничные подарки. Одновременно с немцами мы стали сигналить из трофейных ракетниц, заработали наши зенитки, а через несколько минут на нашу огневую опустилось несколько огромных спаренных парашютов с громадными тюками. Мы распотрошили их и новогодними гостинцами завалили все наши окопы. Перечислить все, что было в тюках, невозможно — сырокопченая колбаса, сливочное масло, изюм, курага, мед, шоколад, галеты, коньяк, шампанское, шнапс, кофе и многое другое. Кроме этого, были и теплое белье, и шерстяные носки, и пуховые спальные мешки, и тысяча наборов с фотокарточками, на которых были изображены голые красотки и молодцы, спаренные в положениях, похожих на цифры «69»! Нам, «неграмотным», трудно было понять, чем же они занимаются. А когда, наконец, мы разглядели и поняли, то не поверили своим глазам. Это у нас вызвало чувство омерзения, а моего узбекского друга даже стошнило. Он выл, как от страшной боли: «Вай! Ва-а-а-ай! Ва-а-а-ай!» Я еле успокоил его, убедив в том, что для этих снимков немцы используют не людей, а резиновых раскрашенных кукол, просто так, для смеха. Так я узнал о порнографии.

До рассвета 29 декабря мы успели хорошо угоститься новогодними подарками, свалившимися с неба, и перенести все мины с бывшей нашей огневой позиции. Мы отдыхали еще два дня, так как на фронте было затишье. 31 декабря, ровно в 23 часа, мы вместе с нашей дивизионной артиллерией открыли беглый огонь по немецким артиллерийским батареям. В течение получаса мы, не жалея мин, вели огонь. Немецкие пушки так и не сумели нанести ответный удар. Только через полчаса мы услышали со стороны немцев тоскливый вой одинокого «ишака» — шестиствольного миномета. Над нашими головами пролетели шесть немецких мин и, глухо бухнув, шлепнулись в той, оставленной нами, балке.

* * *

Помню, еще на пути к фронту, в деревне Малая Елшанка, где нам выдали новое полевое обмундирование, котелки, химпакеты, бинты, каски, ботинки и обмотки, были нам выданы и пластмассовые патрончики с крышкой на резьбе. Внутри — ленточка, которую надо было собственноручно заполнить своими анкетными данными, завинтить патрончик наглухо, чтоб в него не попала сырость, и положить в кармашек. «Паспорт смерти» — так окрестили мы этот патрончик между собой. Не знаю, кто как, а я тот паспорт выбросил тихонько, чтоб никто не видел, и на его место положил в брюки свой талисман — предмет, который я должен буду сберечь до конца войны. Наверное, у всех моих товарищей были вещи, которые служили им талисманами, но говорить об этом было не принято: талисман «имел силу», если о нем знал только ты сам. Талисман свой я сделал собственными руками. К Сталинградскому фронту мы маршевыми колоннами продвигались от станции, где выгрузились из своего эшелона, скрытно и только ночами. Днем, соблюдая маскировку и тишину, мы отсыпались. На таком «привале» мы в первую очередь наедались из солдатской кухни, сушили портянки, и каждый занимался по своему усмотрению. Я же решил смастерить для себя деревянный мундштук. Доделал его и загадал: «Если я этот мундштук не потеряю, то вернусь с войны домой…» И не успел я спрятать его в самое надежное место — в карманчик брюк, наш старшина, проходя мимо, вырвал его у меня из руки и побежал по своим делам дальше. «Вот тебе на-а-а! — подумал я одеревеневши. — Сам загадал, чтобы не потерять!.. Значит, я не вернусь живым домой?!» Сижу и прикидываю: с ним, кадровиком, мне не справиться, и мундштук он мне не вернет… На душе у меня стало тоскливо. Погибать-то мне не хочется! И в ту же минуту меня осенила спасительная мыслишка: «Надо срочно смастерить еще один мундштук, но более красивый…» Через полчаса новый мундштук был готов, и я будто случайно оказался возле старшины с изделием в зубах. Тот увидел и предложил: «Меняем? А в придачу отдам тебе пачку махорки». Я обрадовался и обменял. Быстро вернулся на свое место и тут же немедленно зашил свой талисман в карманчик штанов. Радости моей не было предела! Значит, я теперь обязательно вернусь домой!

Раз на исходной позиции атаки мы, пехотинцы, очутились среди танков «Т-34» и «КВ». Экипажи вылезли перед боем подышать свежим воздухом, а мы скорей к ним — со своим любопытством.

Танкисты уважали пехоту и радовались нам взаимно. Тут

были шутки-прибаутки. Нашлись и земляки. Всем было весело. Но один танкист-водитель был невесел.

— Знаешь, друг мой пехота, а я сегодня сгорю, — говорит он мне вдруг. Мы с ним стояли поодаль от всех. Я ему говорю:

— У каждого из нас одинаковый шанс остаться в живых. Нельзя же теперь вот так раскисать, как ты.

Танкист мне заметил с иронией:

— И ты как комиссар толкуешь? Я с первых дней войны в танке. Пять машин поменял. Конец мне сегодня, и точка. Ты пацан еще, тебе не понять… Я потерял свой талисман.

У меня все внутри сжалось, но я виду не подал.

Перед самым началом атаки, вроде посмеиваясь над танкистом, рассказываю это Суворову. Но Суворов неожиданно серьезно отнесся к моему рассказу, и мы с ним решили в атаке следовать за тем танком, чтобы в случае чего помочь экипажу спастись… Бегу и глаз не свожу, как мчится наш подопечный танк, маневрируя и уклоняясь от термитных снарядов (термитными в 1941–1944 годах в КА назывались кумулятивные снаряды. — *Прим. ред.*). Термитки летят с ревом, брызгая во все стороны искрами. Загорелись несколько танков слева и справа, но наш танк ведет огонь! Я уже выбросил из головы, что может что-то случиться. Он лихо воюет, этот парень! И вдруг танк на ходу взорвался. Искореженный, он по инерции пробежал метров десять и загорелся. Мы с Суворовым поспешили на помощь, но внутри танка сухо трещали патроны…

Или вот был случай. Стоим мы, несколько человек, на двуколке и наблюдаем, как на правом нашем фланге у соседнего с нами полка разгорается бой — фашисты пытались отбить высотку, которую наши соседи только что заняли. На двуколку забралось пять-шесть человек. Я стоял первым, а последним забрался лейтенант Стукач. Вдруг слышим — по звуку обессилевшая, издалека — летит пуля. Я наклонился и, потеряв равновесие, спрыгнул и потянул за собой остальных, так как мы держались за ремни друг друга. Стукач же удержал равновесие, но пригнуться не успел, и пуля ударила ему в залысину. Даже обессиленная, свалить она его, конечно, свалила Но видим — жив! Сам ее рукой нащупал среди влажных от крови волос, щерясь во весь рот, разглядывает и понять не может, как это он остался жив. Мы, обалдевшие, давай его качать: «Уррра! Лейтенанта пуля не берет!» Хлопцев вокруг нас набежало! Всем интересно: как это «пуля не берет»?.. Я тогда подумал, помню: наверное, у лейтенанта Стукача есть талисман…

А вот у Суворова… Сколько мы уже вместе с ним? С училища скоро год будет, как мы рядом. Не замечал я. И он про мой

талисман не знает.

Уж очень хочется мне всю войну провоевать и живым остаться! Увидеть, какая она, жизнь, будет после войны! Я согласен на любые условия. Был бы угол свой, где поспать по-человечески. А остального для счастья много, всем хватит: солнце, чистая родниковая вода, тайга-матушка… А если у меня оторвет руку, обе ноги, выбьет один глаз?.. Я нарочно прикидывал по максимуму, на который согласен… И то не пропаду — буду рисовать! Рисовать люблю — умираю! Никаких наград не надо, лишь бы живым остаться! Ну, медаль «За отвагу», и хватит, чтоб знали все, что я воевал…

Мечтаю я так втайне от всех и щупаю свой талисман. Он тут. Захочу — выну посмотрю и обратно в пистончик его…

Если это суеверие, то были у меня и другие суеверные символы. В поведении. С убитых не брал даже часы! И я замечал: как только кто-то нарушал это мое суеверное правило, погибал сам. Закономерность какая-то действует. Ни в аллаха, ни в бога я не верю. Но и в ту ночь, когда тащил на себе в санроту Николая, укравшего мой хлеб, и он просил бросить его, я знал откуда-то совершенно точно, что если я действительно его брошу, то моя собственная вера в высшую справедливость жестоко накажет меня. А раз не бросил, то меня моя вера вознаградила — я остался живой до сих пор.

Еще заметил: кто слишком трусливо прячется, обязательно погибает. Усвоил эту примету настолько, что угадывал: «Убьет», — и редко ошибался.

Иногда трусость появлялась у тех, кто, получив ранение, полежит в госпиталях в глубоком тылу и вновь вернется на фронт. Расскажу об одном моем боевом друге, пулеметчике Николае Белозерове. (Это единственный человек, фамилию которого я здесь изменил.) Со своим «максимом» он расходовал патронов больше любого пулеметного расчета. У Белозерова было два вторых номера, которые обеспечивали его патронами. По-настоящему храбрый был вояка, ни разу не бросил огневую позицию, пока не прикажут. Однажды его легко ранило, и он был отправлен в тыл. Через некоторое время мы с ним встретились в штабе нашего полка, куда я попал на заседание полкового партбюро. Белозеров был безукоризненно чистый, пополневший, на гимнастерке орден Красной Звезды. Он был уже в офицерской форме с кубиками в петлицах — младший лейтенант.

— Мансур, здорово!

Обрадовался я встрече.

— Расскажи, как там, в госпиталях? — завистливо спрашиваю его. — Выспался небось?

Да, надо признать, завидовал я легкораненым. Что можно поспать на чистой койке, отмыться… От вшей бы избавиться!.. Например, Осекретов в нашей роте за два месяца боев получил три ранения! День-другой побудет в нашей роте и не успеет рассказать все свои любовные истории, как опять его легко царапнет. «Где Осекретов?» — спрашиваем друг у друга. «Ранило его, и он опять к своим девочкам подался…»

Белозеров мне тоже рассказал про своих девочек, хотя я в них совсем не знал тогда никакого толку. Ну а я ему про то, какие были у нас новости в его отсутствие. Мы с ним выпили по сто граммов — у негр было, закусили и вышли по балке на тропу, которая вела в наш батальон. Побежали мы той тропой через поле, и вдруг взревели немецкие «ишаки».

Мины летят с коротким ревом: значит, берегись! Спрыгиваем в первый попавшийся окоп — там уже несколько наших ребят. Коля нахлобучил каску. А я, как все, без каски. Подумал: «Он теперь новоиспеченный командир пульроты и, видимо, хочет личным примером заставить своих пулеметчиков носить каски, от которых нет никакого толку». Но смотрю — он глаза прячет. «Э-э, трусит Коля, — догадываюсь я. — Он не такой был раньше».

Взрывы пропечатали рядом, брызгая горячими и визгливыми осколками. Мы выскочили для броска вперед. Я побежал в следующий окопчик вместе со всеми, а Коля вдруг вернулся и спрыгнул обратно.

Оглушительные взрывы с треском опять проследовали один за другим. И один из этих взрывов был «глухим». Я снова выскакиваю, чтоб бежать дальше, и кричу: «Коля, пошли!» Да что же это он?! Сидит в окопе?.. Нет, что-то не так. Бегу туда, где он остался…

Каска пробита осколками мины, выбрызнул серо-красный мозг, лицо у Коли черное, руки изуродованы… Мина ударилась о заднюю стенку его окопчика.

Все, что принадлежало Белозерову — орден Красной Звезды, документы, новенький пистолет «ТТ», — я передал комиссару батальона.

Суворов мне говорит:

— Ты, наверно, в рубашке родился, Мансур? Уж сколько раз ты чудом от смерти уходил.

Я слушаю его и щупаю свой талисман — тут он…

Мой друг Суворов две последние недели как-то по-особенному мрачен.

Спрашиваю:

— Куда делся наш юморист Суворов?

Молчит. Ответит мне «да» или «нет», и все.

Однажды вынул все свои документы, разложил их и прочитал вслух, чтоб слышал я. У него есть дочурка, жена, мать. Адрес зачитывает домашний. Потом собрал, завернул все в тряпицу и положил в карман гимнастерки:

— Все отправишь моим в Кучкарь.

У меня внутри все перевернулось и заныло. Суворов ли это? Не узнаю своего друга.

— Чую я, Мансур, скоро конец мне.

Я, как ни стараюсь его взбодрить, вижу, что он уходит «в себя» и совершенно замкнулся… Он стал равнодушен ко всему.

Может, потерял чего?! Но боюсь спросить. Потому что, если у Суворова есть талисман, я не должен про это знать.

Десятого января 1943 года, когда стих бой за хутор Дмитриевка и уже наступала тишина, Суворов Павел Георгиевич был убит разрывной пулей в голову. Одинокая шальная пуля издалека прилетела, издавая протяжный звук. После этого с фашистской стороны никто не стрелял.

Я плакал, как плачут женщины у гроба любимого человека. Ревел, как ревут от великой несправедливой обиды малые дети.

…Однажды он мне рассказал, за что был награжден орденом Красной Звезды. В первые дни войны его полк отходил от города Бреста на восток. На одной станции стоял в тупике крытый вагон со взрывчатым материалом, шедший по особой накладной на нужды горнорудной промышленности. Один железнодорожник сообщил об этом командиру полка. Саперов не было в полку. Суворов отрекомендовался горным техником и взялся посмотреть груз. Да, в мешках оказался аммонит, а в металлическом ящике-сейфе капсюли-детонаторы. Отдельно были сложены бикфордов шнур, электромагистральные провода, нашлись и электропалильные машинки. Поселок имел три приличных здания — школу, больницу и гостиницу, которые решили заминировать. Времени было в обрез, но Суворов успел. Провода ему хватило и для дублирования взрывной сети. Эвакуировав население, полк оставил этот населенный пункт, и, когда гитлеровцы ворвались в поселок и расположились в зданиях, мощные взрывы потрясли землю…

Похоронили мы Суворова у хутора Дмитриевка. Присутствовали на похоронах все офицеры батальона. Павел Георгиевич был общим наставником минометной роты, а наш с ним миномет был основным в роте, и расчет наш назывался «суворовским»…

Мы с Фуатом осиротели, и я думал, что сроду не воспряну духом. Пока Суворов был жив, я всячески старался своим поведением радовать его. Как будто я жил и действовал только

ради того, чтобы получить от Суворова одобрение… Спасибо всем моим боевым друзьям. Они заботились обо мне и проявляли чувство дружбы как могли.

Писали мы письма родным Суворова в Кучкарь на Урале. Но какие утешительные слова ни пиши, а слов «погиб смертью храбрых» не заменишь никакими другими словами…

* * *

Еще девятого января пронеслась по окопам весть, что на нашем участке боевых действий командование предложило фашистам сдаться, чтобы предотвратить бессмысленное кровопролитие. Но фашисты отклонили ультиматум, который гарантировал им жизнь, и на другой день мы штурмом брали Дмитриевку. Если бы фашисты ультиматум приняли, если бы не было боя за Дмитриевку, мой дорогой друг и командир Суворов Павел Георгиевич мог бы остаться в живых. Я должен отомстить! Я должен крепко отомстить за Суворова!..

И вот с боем мы врываемся в местечко Питомник. Сколько жив буду, не забыть мне то аэродромное поле в Питомнике. Фашисты свезли сюда своих раненых, но эвакуировать их в Германию не успели. Раненые немцы погибали, замерзая на запорошенном снегом бетоне. Тысячи людей, замерзающих заживо… Некоторые ползли по аэродромному полю, опираясь на руки, с которых уже отвалились пальцы…

Смотрит на меня тускнеющими глазами немец, у которого носа практически нет и лицо отморожено, который не может двигать челюстью, худой и обросший, у которого еще не смерзся мозг и еще еле-еле бьется сердце… Вынести не могу, как мучается человек, взглядом вымаливая пулю, но добить его не поднимается рука… Другой свалился сам и уйдет в спасительное небытие через десять-пятнадцать минут… Спасти их невозможно: это уже необратимый процесс умирания, все конечности отморожены…

И стыдно мне этих мыслей, стыдно непрошеной жалости. Как бы кто из ребят наших не заметил: ведь у меня погиб друг, и я должен мстить!.. И вдруг вижу: один наш солдат так же испуганно, как я, смотрит в глаза немцу, который стоит на четвереньках. Оба смотрят то в глаза друг другу, то на пистолет, который в руках у солдата. Немец даже кивнуть не может, закоченел. Глазами моргнул: «Да…» Солдат выстрелил ему в висок… Человек уже мертвый, а не падает — смерзся. Стоит как «козлина», как «скамейка», из пробитой головы не идет кровь… Мы скорей ушли оттуда, чтобы не смотреть на мучения тысяч

умирающих немцев…

Фашизм тем и преступен, что не только допускает, но заранее предусматривает такие методы утверждения своей идеологии. Фашизм не разжалобишь человеческим страданием. Сколько людей было истреблено фашизмом без всякой на то военной необходимости, а лишь по признаку национальности. Истреблено аккуратно, без эмоций, с загодя подготовленными газовыми камерами, печами для сжигания трупов, приемниками для «отходов»… Страшная идеология. Не хочу сказать — варварская, потому что «фашизм» в моем восприятии звучит страшнее, чем «варварство».

На аэродроме в Питомнике — горы посылок, подготовленных для отправки в Германию. В них — награбленные ценности…

Сам Питомник — несколько дворов. Но оказалось важным другое. Здесь была сосредоточена немецкая автотранспортная техника, аккуратно законсервированная и установленная строгими рядами по подразделениям, — около семнадцати тысяч единиц! Со стороны было похоже на небольшой город с улицами, кварталами…

Заходим с Худайбергеновым Фуатом в один блиндаж. Настоящие апартаменты. И кухня, и спальня, и туалет тебе тут! Духами пахнет. Разные напитки и в бутылках, и во фляжках, и в термосах. Кофе еще теплый. В коробке — на одной из двухспальных кроватей — собачка. Лохматая, с ослепительно белой кудрявой шерстью. Дрожит чего-то. Да, неплохо — причем до самого последнего момента — было устроено командование тех замерзающих на аэродромном поле немецких солдат… В наших вещмешках была трофейная колбаса. Дали мы собачке колбасы и вышли. Закрыли дверь и написали углем: «Заминировано». Жалко, если кто-нибудь из наших сгоряча пристрелит дрожащую собачку. Собачка-то здесь при чем?..

Хотя меня никогда не интересовали никакие трофеи, в том блиндаже привлекла мое внимание одна бархатом обшитая коробка, и я открыл ее. Там оказалась целая коллекция орденов, и я решил их забрать, чтобы передать в штаб полка. На другой день меня вызвал к себе комбат. Там я увидел незнакомого высокопоставленного, со «шпалами» на петлицах, немолодого с двойным подбородком офицера. Я доложил, обращаясь к комбату:

— Товарищ капитан, младший лейтенант Абдулин явился по вашему приказанию!

— Вольно, садись. Рассказывай представителю особого отдела корпуса, какие трофеи ты нашел вчера, — кивнул головой в его сторону.

— Немецкие ордена, — отвечаю.

— Почему не передал своему начальству?

— Не успел еще.

— Вот и передай их товарищу полковнику, пока сам цел.

«Как так? Цел или не цел?» — подумал я, проклиная эти трофеи.

— Разрешите идти и предоставить?

— Идите.

Не успел я выйти из блиндажа, как со стороны немцев с ревом по нашей траншее рванули тяжелые мины. Немцы несколькими залпами из своих «ишаков» обстреляли нас и бросились в атаку. Но мы своим ответным огнем остановили их. С наступлением тишины я поспешил в окоп, где оставил свой вещмешок. Но я не нашел ни своего окопа, ни вещмешка… «Вот тебе и «пока сам цел», — подумал я и вернулся к своему комбату с пустыми руками….

Зашли в другой блиндаж. Тут проживала, наверное, обслуга, ничего интересного вроде бы нет. Но в одном углу — мне показалось — под толстым слоем одеял лежит на боку с поджатыми коленками человек. Я показал Фуату. Он кивнул: «Да». Отворачиваю одеяло за угол — лежит немецкий офицер в новом обмундировании.

— Хальт! Хенде хох! — подаю команду.

Офицер сел, смотрит на нас.

— Хальт, хальт, — показываю ему автоматом на руки, чтоб сдавался, значит, в плен.

Офицер вроде хочет встать, опершись левой рукой, но правую вдруг резко к кобуре… Что ж, не хочешь, как хочешь — короткая очередь из автомата не дала офицеру вытащить «парабеллум». Вышли мы из блиндажа, решив быть более осторожными. Так можно и нарваться…

В Питомнике мы обнаружили машину с шоколадом. Кому он предназначался? Вряд ли тем немецким солдатам, которые грызли лошадиные копыта, чтоб не умереть с голоду…

После Питомника был Гумрак. Фашисты оставили станцию после непродолжительного сопротивления. Заходим в концентрационный лагерь для советских военнопленных. Часть людей была на грани смерти, но все же живые, и их срочно вывезли в госпиталь. Несколько тысяч трупов были штабелями сложены в открытом поле…

Один ужас сменяется другим. Как выдюжить мне этот кошмар? Если от пули не погибну, то точно сойду с ума!

От Гумрака до Сталинграда всего пятнадцать километров. Фашисты совсем не сопротивляются — бегут.

Мы гордились, что к разгрому фашистов под Сталинградом

наша дивизия хорошо приложила свой кулак. Начиная от прорыва немецкой обороны под Клетской 19 ноября 1942 года, от взятия Калача, Илларионовки, от боев под станицей Распопинской, где был целиком уничтожен фашистский полк и взято в плен около трех тысяч румынских солдат, от тяжелого боя за «пять курганов» северней Карповки, боев под Мариновкой — мы упорно пробивались к Сталинграду. Там, мы знали, бои идут за каждый метр. Держится еще Павлов, простой сержант, который с сентября обороняет дом в центре города…

В нашей роте 82-миллиметровых минометов, в которой я был рядовым наводчиком, не осталось ни одной мины. Мы израсходовали даже трофейные запасы. Горюем оттого, что завтра нам нечем будет «потчевать» окруженных немцев, которые остервенело продолжают огрызаться. Наш расторопный ротный, старший лейтенант Бутейко сбегал к нашим соседям-артиллеристам и «поймал» там порожнюю трехтонку — «ЗИС-5», из которой только что разгрузили артиллерийские снаряды, и шофер собрался возвращаться на тыловые склады за следующей партией снарядов. Бутейко пообещал шоферу вознаграждение — трофейные часы, но с условием, что он привезет нам мины. Ротный вызвал меня к себе в землянку и приказал: «Как парторгу роты приказываю тебе сопровождать этот грузовик, а через три часа ты должен вернуться с минами!» Я ответил: «Есть сопровождать машину и вернуться с минами!»

Сорокалетний с виду, проворный и веселый шофер нетерпеливо торопит меня: «Шевелись, паря!» Я, услышав сибирское слово «паря», с радостью влезаю в деревянную и расхлябанную кабину с ящиком вместо сиденья, усаживаюсь и спрашиваю шофера: «Паря! Откуда ты будешь?» Он, в свою очередь обрадовавшись встрече с земляком, отвечает мне: «Я из Красноярска. А ты от-куль?» — «А я из Кемеровской области». — «Значится, мы земляки!» — «Елки зеленые!» Взревел мотор, и мы рванули вперед, в темную ночь. Из-за грохота деревянной кабины и кузова и из-за рева старого мотора шофер, приблизившись вплотную к моему уху щетинистым и колючим лицом, крикнул: «Земляк! Меня звать Иваном Соболевским. А тебя?» — «А меня, — отвечаю ему, также крича, — Мансур Абдулин!» Иван дважды повторил мое имя и фамилию, чтобы запомнить, и снова кричит мне: «Ладно уж! Так и быть, разобьюсь, но постараюсь выручить земляка! И не надо мне ваших трофейных золотых часов». Мы мчимся на предельной скорости. Иван сосредоточил все внимание на дорогу, известную только ему. Его сильные и хваткие руки вертят баранку так, что я боюсь, как бы она не оторвалась. По обеим сторонам дороги остаются искореженные

танки, автомашины, бронетранспортеры, самолеты. Наш грузовик то и дело выделывает крутые виражи, с трудом успевая проскочить мимо застывших железных чудовищ с «рогами» и «лапами». В сотый раз мы едва успеваем вовремя увернуться то влево, то вправо, в любой момент рискуя столкнуться с каким-нибудь железным монстром. На бешеной скорости, со звериным ревом мотора, громыхая кабиной и порожним расшатанным деревянным кузовом, — ори не ори я даже в ухо Ивану, он все равно не услышит меня, — мы с затемненными фарами мчимся дальше. Узкие, как шпаги, прыгающие лучи света фар могут только на мгновение выхватить из кромешной тьмы свободную дорогу между искореженной техникой. Меня кидает в кабине из стороны в сторону так, что после пятнадцати минут езды я чувствую себя избитым до полусмерти и от страха и боли готов был выпрыгнуть из кабины на ходу. Но куда я пойду в такую темную и морозную ночь в безлюдной степи?..

Наша машина, не сбавляя скорости, мчится вперед, объезжая все смертельно опасные препятствия. Мое внимание переключилось на частые хлопки под колесами грузовика. У меня создалось впечатление, будто мы едем по разбросанным в степи доскам и горбылям. Хлоп-хлоп — под передними колесами, и так же хлоп-хлоп — под задними. Я, не вытерпев этих звуков, кричу шоферу в ухо: «Иван! А че эта у нас под колесами хлопает? Бутта бы в степи кем-то рассыпаны доски и горбыли?» А он мне в ответ кричит: «Эта, Мансур, не горбыли, а трупы! Их машины раскатали, и ане, как доски, хлопают!» Я обалдел от этой новости и кричу ему: «Не может быть!» Иван остановил грузовик, и мы вылезли из кабины прямо на «горбыли»: «Вот, Мансур, сам убедись!» Я включил свой трофейный фонарик и увидел эти самые «горбыли» и «доски». Вот наш солдат в серой шинели, а вот фриц в ядовито-зеленой… Моим ногам скользко стоять на «горбылях» и «досках», и Иван объясняет мне: «Это оттого, что «горбыли» жирные. Вон смотри на наши колеса — они словно в солидоле. А когда надо менять спущенное колесо, ево надоть сперва вымыть бильзином. Понял? Поехали!»

Мы с Иваном кое-как тронулись с места — наша машина долго буксовала на «горбылях». Приказ ротного мы выполнили, от предложенных ему золотых часов Иван отказался, а мы обменялись домашними и полевыми адресами.

После окончания войны я, будучи по служебным и личным делам в Красноярске, нашел дом моего земляка и фронтового друга Ивана. Во дворе меня встретила изможденная голодом и тяжелым трудом, рано состарившаяся, но сохранившая следы былой красоты женщина. Мы поздоровались. Я спрашиваю ее:

«Тут проживает Иван Соболевский?» Женщина, не сказав мне в ответ ничего, кивком головы пригласила в дом, который выглядел печальным и бедным. Я сел на деревянную, давно не мытую широкую лавку. Пол был грязным, большая русская печь давно не белена и закопчена. Хозяйка ушла в переднюю, скоро вернулась с серенькой бумажкой в руке и молча протянула ее мне. Эта бумажка была похоронкой на Ивана. Так я узнал дату его гибели — 18 января 1943 года. Она произнесла тихо: «А я тебя вроде бы знаю. Он написал про то, как встретился с тобой. Ты Мансур Абдулин?» Она не заплакала, и мне перед ней было почему-то стыдно оттого, что я остался жив, а вот Иван, оказывается, погиб. Я вспомнил страшную картину — «горбыли» на дороге.

* * *

21 января 1943 года — знаменательный день в хронике боевого пути нашей дивизии.

«…В боях за нашу Советскую Родину против немецких захватчиков 293-я стрелковая дивизия показала образцы мужества, отваги, дисциплины и организованности. Ведя непрерывные бои… дивизия нанесла огромные потери фашистским войскам и своими сокрушительными ударами уничтожала живую силу и технику противника, беспощадно громила немецких захватчиков…» — это строки из приказа № 34 от 21 января 1943 года, подписанного народным комиссаром обороны СССР И. Сталиным.

«…За проявленную отвагу в боях за Отечество, — говорилось далее в приказе, — за стойкость… за героизм личного состава преобразовать 293-ю стрелковую дивизию в 66-ю гвардейскую стрелковую… Преобразованной дивизии вручить гвардейское знамя…»

Мы — гвардейцы! Полк наш теперь — 193-й гвардейский!

Это была высокая награда. Не многие мои товарищи дожили до нее. Новый наш командир полка гвардии капитан Билаонов Павел Семенович по окончании Сталинградской битвы увезет с собой на Курскую дугу шестьсот тринадцать человек, да и тех большей частью из недавних пополнений. Ведь личный состав в ротах сменился полностью несколько раз.

Сколько замечательных ребят осталось лежать в земле на этом отрезке от Дона до Волги! Ценой своей жизни они помогли переломить ход войны.

Мне пришло письмо из редакции Ташкентского радио. Сотрудник Рашидова извещала, что в связи с зимними

трудностями доставки почты на рудник Саргардон в Тянь-Шаньских горах письма фронтовиков (в том числе и мои) были прочитаны по радио. Мне было и совестно, что мои письма заодно с родственниками слушало много незнакомых людей, и тепло на сердце от такой внимательной заботливости работников радио. «Все мы, — думал я, — и на фронте, и в тылу живем одним — поскорее освободить нашу землю от захватчиков».

* * *

В последние дни января 1943 года, темной ночью, наша минометная рота пополнилась очередными свежими силами. В числе двадцати пяти новичков прибыл солдат, который заметно выделялся среди своих товарищей богатырской фигурой, броской огненно-рыжей кудрявой шевелюрой и давно не бритой рыжей бородой. Его открытое лицо с большими голубыми глазами и курносым носом напоминало типичного рязанского купца-молодца с полотен русских художников.

При каждом прибытии новичков «старички» из нашей роты изо всех сил старались «завербовать» в свой боевой расчет таких силачей, как этот рыжий. Ясное дело: 82-миллиметровый миномет — это не карабин или автомат! А в боевых условиях нам часто приходилось таскать свой миномет, состоящий из трех двадцатикилограммовых «вьюков», и лотки с минами, каждый по двадцать пять кило! На зависть всем нашим минометчикам, у меня в расчете уже были такие богатыри — узбек Худойбергенов Фуат, штангист, чемпион республики в тяжелой весовой категории, и прибывший на прошлой неделе Ажура Туйчиев — чемпион Таджикистана по вольной борьбе, которого мы прозвали Палваном. Да и я, хоть и не богатырь, все же молодой шахтер, привыкший к тяжелому труду и большим физическим нагрузкам.

Итак, сегодня я должен получить в свой расчет одного из новеньких вместо погибшего уральца Павла Суворова, который тоже отличался недюжинной силой. Я впился глазами в рыжего и думаю: «Не мешало бы заполучить этого малого к себе». Но вряд ли мне это удастся, так как он мне даже не земляк. Дело в том, что землякам разрешалось служить в одном расчете или отделении — тут уж никто не спорил. Мне на них везло, потому что я татарин, сибиряк, уралец, житель Средней Азии и мусульманин — все в одном лице! Все мои боевые товарищи были мне земляками, поэтому я «получал» их на «законных» основаниях. Наши хлопцы всегда зубоскалили надо мной: «Мансуру даже неф — земляк!» А вот этот рыжий, если он

действительно из Рязани, никак не мог быть мне земляком.

Я начал приглядывать себе других ребят и был готов взять одного неслого крепыша, что забился в углу блиндажа и беззаботно клевал носом. Тем временем наш немолодой старшина — «кадровик» — приступил к своим обязанностям. Он должен был занести анкетные данные всех новичков в строевой список. А мы, «старики», навострив уши, определяли, кто из них больше всего подходит под категорию «земляк». Вот уже пятеро моих однополчан нашли себе боевых товарищей. А радости сколько! Шуму! Старшина сердится: «Прекратить ярмарку!» Наконец дошла очередь и до рыжего. Наступила тишина. Тусклое пламя фронтового светильника — гильза «сорокапятки», солярка да лента от портянки, — казалось, застыло в ожидании. Рыжий бодрым голосом отвечает на вопросы старшины: «Я, рядовой Садыков Рашид Садыкович…» Услышав это, я аж подпрыгнул: «Боже мой, земляк!» Все присутствующие разом расхохотались. Старшина вновь призвал нас к порядку, и смех утих. «…1918 года рождения, узбек, домашний адрес: Южно-Казахстанская область, Бостандыкский район, кишлак Газылкент, улица Ленина, 15…» Тут я опять не выдержал: «Мы с тобой из одного района, я из Бричмуллы!» А Рашид мне отвечает: «У меня там родственников полно!» Не помню, как оказался я в его объятиях, но кости мои хрустели на весь блиндаж. Придя в нормальное состояние, под дружный хохот однополчан я схватил Рашида за руку и увел его к своим товарищам в наш окоп, где те с нетерпением ждали меня и новенького. Фуат с Джурой были рады земляку не меньше, чем я. Встречу мы «обмыли» своим запасишком из трофейной фляжки, а разговоров у нас хватило до самого утра. Вспомнили, как на прошлой неделе в том же блиндаже, в котором сегодня распределяли новеньких, я познакомился с Джурой.

А было это так. Захожу я в блиндаж, где уже собрались командиры расчетов на встречу с новичками, и сразу подмечаю черного, как головешка, азиата, под два метра ростом. Я к нему: «Ассомагали кум!» Тот, залившись румянцем, весело отвечает: «Алейкум-ассалям!» И пошло-поехало: «Ты откуда?» — «А ты?» — «Я из Бричмуллы». — «А я из Наткала!» Подхожу я к старшине и ротному и говорю: «Ну, все! Забираю я своего земляка. Он и сам желает этого». А старшина мне категорично так заявляет: «Погоди, не торопись. Ты по-таджикски хоть одно слово знаешь? Если да, то скажи что-нибудь, а Джура нам переведет. Вот тогда и докажешь, что вы земляки». В блиндаже все притихли, ждут интересного спектакля. И тут я на чистом таджикском языке обматерил старшину самыми паскудными словами. Если бы он понял мой монолог, то сразу же, наверное, умер бы от разрыва

сердца. Джура же, услышав мое «красноречие», не на шутку испугался, но быстренько сообразил, что старшина-то по-таджикски «ни бельмеса». Он громогласно расхохотался. Дружно залились смехом и все минометчики и потребовали от Джуры точного перевода. Но Джура не растерялся: «Па-русскам я нэ панамай!»

Рашид рассказал нам о своем житье-бытье. Мы узнали, что он вовсе не узбек, а русский. Своих родителей не знает, так как они его, полугодовалого, бросили на ташкентском базаре, а может быть, и не бросили, а просто умерли… Подобрал младенца и усыновил один добрый человек, кузнечных дел мастер, в семье которого незадолго до этого родился сын. Ребенок не мог полностью отсасывать материнское молоко, от чего молодая мамаша сильно страдала — воспалялась грудь. С появлением же второго сына эти муки кончились. Вот так и нашел Рашид своих узбекских родителей и братишку Усмана. Рано умерли его приемные отец и мать, и Рашид с Усманом перебрались жить из Ташкента в кишлак Газылкент. Там, работая в колхозе, построили каждый себе по дому и развели вокруг них сады. В 1938 году оба женились, и у них родились сыновья. А в 1941 году, в самом начале войны, вместе пошли на фронт. Усман погиб под Москвой.

Теряя своих товарищей в кровопролитных боях, мы с каждым днем все сильнее и сильнее сжимали фрицев в «котел», несмотря на их ожесточенное сопротивление. Наша рота из девяти минометов вела круглосуточный огонь, уничтожая живую силу противника. Рашид, не жалея сил, мстил фашистам за погибшего брата. Я тоже мстил фашистам — за своих товарищей, за исковерканные войной судьбы наших людей, за свою Родину. Мы не боялись смерти, но хотели остаться в живых, чтобы посмотреть, какой будет жизнь в нашей великой стране после войны. 30 января 1943 года войскам Донского фронта удалось разделить находящихся в окружении немцев на два «котла» — южный и северный. В этом бою мы своим расчетом вели непрерывный огонь — так, что на стволе минометов дымилась краска! От немецкой пули погиб Джура. Похоронили мы его в старом окопе, во дворе четырехэтажного дома…

Меняя свою огневую позицию в очередной раз, мы бежим через открытое поле за нашим танком, чтобы все время быть в «мертвой» от пуль зоне. Отставать нельзя, даже если ты нагружен, как верблюд, даже если задыхаешься от густого, ядовитого выхлопного газа. Вдруг Фуат кричит: «Рашид ранен!» Сбросив с себя три пуда груза, я побежал назад к лежащему Рашиду. Навстречу мне бегут наши пехотинцы во главе с молоденьким лейтенантом, который, размахивая пистолетом, орет что есть

силы визгливым мальчишеским голосом: «За Родину! За Ста-а-а-а-лина-а-а-а! Ни шагу назад! Ра-а-а-а-асстреляю!» Я серьезно испугался этого психа, ведь он может запросто принять меня за дезертира и убить. Лейтенант уже выстрелил вверх для предупреждения и вдруг упал, запрокинув голову назад. Воистину неисповедимы пути войны. Может быть, эта немецкая пуля, сразившая молодого лейтенанта, спасла мне жизнь… Когда я подбежал к своему другу, я увидел, что Рашид, истекая кровью, обеими руками сжимает ногу выше колена. Быстро разрезаю ватную штанину и накладываю на пулевую рану марлевую повязку, чтобы остановить кровотечение. Рашид пытается встать на ноги. Кость цела, и он даже делает несколько шагов. Но я кладу его на наши плащ-палатки и волоком тащу в тыл. Справа и слева тоже тащат раненых, значит, я на верном пути, и тороплюсь, чтобы быстрее доставить Рашида до какой-нибудь санчасти. За моей спиной неожиданно стих грохот боя, и я понимаю, что немцы прекратили сопротивление. Война на этом участке уже кончилась…

Наконец я приволок своего товарища к так называемому перевалочному пункту, откуда раненых увозят на грузовиках дальше в тыл. С одним из санитаров я опустил Рашида в огромную яму — капонир, где ребята — человек двести — дожидались своей очереди для эвакуации. Тот же санитар заверил меня, что через полчаса всех раненых увезут. Попрощавшись с другом, я побежал искать Фуата и свой боевой расчет. Наша минрота заняла огневую позицию в том месте, где ранило Рашида. «Ну, как там Рашид?» — спрашивают наши хлопцы. «Нормально», — отвечаю, а у самого сердце болит, волнуюсь за земляка. Фрицы молчат. Молчим и мы. Ждем, что будет дальше. Еще не стемнело, и я, получив разрешение у ротного, поспешил к перевалочному пункту проверить, как там Рашид. Подбегаю к капониру, вокруг ни души. Я успокоился: значит, всех уже эвакуировали. Но, заглянув в яму, я остолбенел от увиденного. Все две сотни раненых сидят неподвижно и не дышат. Их головы уже запорошило свежевыпавшим снежным пухом… Вмиг я спустился в яму и сильно толкнул крайнего солдата в плечо. Тело под рукой неподвижное, окаменелое. Что есть силы я закричал: «Хлопцы! Отзовитесь! Кто тут еще живой?» Но никто не отозвался. Где же Рашид? Вот он! Срываю с него шапку. Огненно-рыжая шевелюра уже заиндевела… Я выскочил из этой братской могилы, тигром бросился искать того санитара и его начальника со шпалами на петлицах. Но куда там! Их и след простыл. Я вернулся в свою роту. Ребятам сказал, что все в порядке. Не хотелось ранить их души. Но сам я, хоть и увидел страшную

картину бессмысленной гибели наших солдат, не сломался.

В ноябре 1943 года я был тяжело ранен и после полугодового пребывания в госпиталях инвалидом вернулся домой в Бричмуллу. Проезжая мимо Газылкента и будучи еще в военной форме, я не остановился, чтобы встретиться с семьей Рашида, так как не смог бы скрыть от его жены и сынишки случившуюся с Рашидом страшную трагедию и только сильнее разбередил бы их рану. Я решил приехать в Газылкент уже в гражданском и для того, чтобы просто увидеть его семью. Отдохнув пару недель в Бричмулле, я отправился в Бостандыкский райвоенкомат, чтобы встать на воинский учет. На обратном пути я остановился в Газылкенте. Иду по улице Ленина, по нечетной стороне. Вот и двор, на воротах которого дегтем написана цифра «15». Я постучал. В глубине двора звонким лаем отозвалась собачка. Слышу, как, шлепая босыми ногами, бежит к калитке мальчуган. Открывается дверь, и передо мной предстал как будто сам Рашид! Но только в пяти-шестилетнем возрасте. Я чуть было не крикнул: «Привет, Рашид!» А сын его, Руслан, крепкий малый с голубыми глазами и веселой улыбкой на лице, решил сам первым поздороваться: «Здравствуйте! Вам маму? Она сейчас выйдет, подождите, я позову». Но я, еле опомнившись от такой встречи, сказал ему: «Нет, братишка, не надо. Извини, я, видимо, не туда попал…»

Паренек сильно огорчился. А я, быстро отвернувшись, пошел дальше по улице. И когда мне надо было уже сворачивать за угол, я оглянулся назад и увидел у калитки Руслана и его маму. Они стояли и смотрели мне вслед…

Тридцать первое января 1943 года. Подходим к окраинам Сталинграда.

Разрушенный город… Сколько ни напрягай воображение, за словами не увидишь того, что предстало нашим глазам. Ни единого целого дома! Нет крыш, нет перекрытий. Голые стены с пустыми глазницами окон, в которые видны горы кирпичных завалов. Из уст в уста летит весть, что фашисты раздвоены на два «котла». Но где они?..

Мы готовы к уличным боям: вооружены гранатами и ножами. Вещмешки набиты автоматными дисками. Все лишнее с себя долой! Просачиваемся в глубь города…

Артиллерия наша первый раз осталась не у дел. Посылать снаряды в «котел» уже нельзя — слишком мал его диаметр. Да и нам, минометчикам, приказано стрелять не далее чем через дом, через улицу…

Выстрел! Ага, фашисты себя обнаружили! Значит, все-таки вон в том доме, который лучше назвать грудой развалин, они

есть. Живо с Фуатом устанавливаем миномет, и наши «гостинцы» отвесно летят на головы гитлеровцев. Далеко бить боязно: как бы не зацепить своих в соседнем доме. Нет отчетливого переднего края. Появилось у меня ощущение, что мы перемешаны с неприятелем, как фигуры на шахматной доске. Каждый выстрел производили с великой осторожностью! Обидно, если кого-то из наших ребят, прошедших такой тяжелый путь до Сталинграда, срежет своим же осколком…

К вечеру выкуриваем немцев из очередного подвала и решаем передохнуть.

Наступало 1 февраля 1943 года.

Просыпаюсь от чьего-то изумленного возгласа. Рассветает. Несколько хлопцев, навалившись друг на друга, смотрят на противоположную сторону улицы. Что там еще такое?! Вскарабкался по спинам, чтоб тоже посмотреть, никто и не протестует — чего, мол, лезешь по живому, больно ведь — так увлечены зрелищем. Смотрю на пустые глазницы окон противоположного дома и тоже не сразу понимаю, что это обозначает. С подоконников косо-криво свисают белые полотнища. На грудах битого кирпича тоже аккуратно разложены обрывки белых тряпок. И тихо — ни одного звука.

— Капитуляция.

Не помню, кто из хлопцев сказал это слово. Осторожно, будто боясь спугнуть.

Выйти из укрытия? А если это ловушка?! Еще вечером немцы дрались с ожесточением. Но любопытство одолевает: неужели правда капитуляция?! И что мы должны делать вот сейчас, в эту минуту? Я увидел вдруг, что хлопцы застеснялись, переглядываются с робкой радостной улыбкой: мол, чумазые мы как черти, в пыли, в саже… Принимать капитуляцию — это же не бой. Тут, наверное, нужен кто-то попредставительней… «Да где их искать, представительных, — с испугом подумал я. — Надо скорей принимать, а то немцы решат, что мы струсили, да передумают сдаваться!»

Спрыгнул я через головы хлопцев и пошел на середину улицы. Ноги как деревянные. Иду медленно. Белые тряпки и полотнища на многих домах, про которые мы и думать не думали, что там есть фашисты. Но где они сами?!

Поодаль от себя вижу таких же, как я, «представителей» — тоже нерешительно топчется каждый посреди улицы. Краем глаза друг на друга смущенно поглядываем: мол, вот, обрадовались, выставились как дураки… Кажется, раздайся сейчас выстрел, и в первый момент будет просто неловко друг перед другом…

Я свой автомат демонстративно перекинул через плечо: если

смажут, думаю, все равно не успею воспользоваться…

И вдруг они полезли из-под развалин, из всех нор поперли одновременно. Тоже медленно шагают, бросают на снег автоматы и поднимают руки. К моему непредставительному виду они равнодушны. Вот пистолет упал к ногам. Только по этому и можно понять, что вон то завернутое в одеяло чучело — офицер. А пистолетом, сволочь, кинул в меня так, что мало не промахнулся. Злись на здоровье, сдавайся только!

Я вдруг с облегчением понял, что подвоха не будет: немцы народ дисциплинированный. И это самая что ни на есть настоящая капитуляция.

Хлопцы, увидев фашистов в таком виде, приосанились и тоже высыпали на улицу: гитлеровцы рядом с нами просто огородные пугала. Какое только тряпье на них не наверчено! Бросают оружие в кучи и молча становятся по восемь-десять человек в колонны.

Вдруг раздается одиночный и глухой выстрел, а я почему-то живой! Оказалось, это гитлеровский офицер пустил себе пулю в сердце…

С нашей стороны, опережая моих товарищей нашей роты, на нескольких «Виллисах» к колонне обезоруженных фрицев подоспела целая рота «особистов» Оцепили их и начали отбирать все ценное для «Фонда обороны». Молоденький капитан разрешил мне выбрать из кучи отобранных часов, портсигаров, зажигалок и ювелирных изделий что-нибудь для себя. Остальным моим боевым друзьям оставалось только завистливо наблюдать, как я быстро рассовываю трофеи в свои карманы и в меховые «краги» не только для себя, но и для них, которых насчитывалось в роте не более чем пятнадцать-семнадцать человек. Так я обеспечил свою роту трофейными часами, но не досталось только одному — Виктору Козлову. Он решил и меня оставить без часов, сообщив нашему ротному о том, что я оставил самые лучшие и дорогие часы себе. Ротный предложил мне добровольно отдать их в «Фонд обороны». И я тут же передал эти часы ему. Потом я узнаю, что мои часы в кармане у нашего старшины. Вскоре наш командир дивизии собрал конференцию активных участников Сталинградской битвы. Был его доклад, и он поставил перед нами новые задачи по разгрому гитлеровской машины в будущих сражениях. Дальше по повестке дня стоял следующий вопрос — «разное». Я первым доложил генералу о том, что наш старшина, который тут присутствует, присвоил золотые трофейные часы, которые я добровольно сдал в «Фонд обороны». Генерал возмутился и приказал старшине вернуть эти часы в «Фонд». Тот подчинился и вручил их генералу. В 1975 году я встретил нашего генерала в Полтаве на первой послевоенной встрече однополчан

и увидел те самые золотые карманные трофейные часы…

2 февраля неожиданно мы получили приказ: «За ночь перейти на «северную» группировку немцев, в которой они продолжают свое яростное сопротивление…» Нам было очень обидно погибать в этом последней бою, когда уже вот-вот будет окончена война хотя бы тут, в Сталинграде… Но мы к рассвету прибыли на место и, к нашей великой радости, тут увидели гитлеровские белые флаги! Мы готовы были этих поганых фрицев обнимать!…

* * *

А днем мы все же сходили посмотреть на тот самый универмаг, где был штаб Паулюса. Весь город в белых тряпках. Только расслабились — к вечеру известие: отдельные группы гитлеровцев продолжают сопротивляться. И еще неделю мы прочесывали улицы, выкуривая недобитых фанатиков из системы канализации.

Из разрушенного, но непокоренного города медленно потянулись мимо нас колонны пленных гитлеровцев. Больные и ослабленные плетутся в хвосте колонн, закутанные одеялами с головы до ног. Спрашиваю наших конвоиров:

— Куда их?

— В Гумрак, — нехотя отвечают конвоиры.

Вспоминаю чудовищные штабеля из трупов наших военнопленных в гумракском лагере… Эти, я знаю, останутся живы. Для них война кончилась. Пусть смотрят на те штабеля. Пусть размышляют, что есть фашизм…

Всех нас, кто остался в живых, наградили медалями «За оборону Сталинграда». Но живых осталось мало.

К концу битвы курсантов-минометчиков из Ташкентского пехотного осталось совсем мало. Было решено рассредоточить нас по ротам среди нового пополнения. Фуата перевели в другой батальон, и нам пришлось расстаться. Больше мы не встретились.

Набираем силы

Я уже писал, что после того, как мы прибыли на Сталинградский фронт, я и все солдаты обовшивелись массами крупнокалиберных, похожих на скорпионов вшей. Они гнездятся от головы до ног: на шапках, гимнастерках, ватниках, шинелях и в рукавицах.

Вши для меня и для всех оказались кровожадными врагами № 1! Врагами № 2 оказались фашисты, которые нам иногда давали хотя бы получасовые или часовые передышки, а вши нас жрали круглые сутки! Они не боятся даже сильноядовитого порошка — «дуста», которым я ежедневно «пудрю» свое потное тело с головы до ног. От такой «процедуры» у меня мрачнеет ум и меня тошнит. Измученный вшами, я уже несколько раз намеревался броситься в огонь горящего танка!..

Вши не дают мне никакой возможности уснуть, и я на ходу, как мертвый, падаю, но мои руки сами лезут под нижнее белье в самые, казалось бы, недоступные места моего тела, и там мои ногти до крови расцарапывают его. Я при возможности кладу свою шапку на опорную плиту миномета и расплющиваю вшей затыльником автомата так, что кровью обливается не только шапка, но и плита…

В станице Карповская, где расквартировалась наша теперь уже 66-я гвардейская дивизия, мы наконец объявили жаркий и сладостный бой вшам!

Вмиг построили по собственным «проектам» жарилки и бани. Каждый день моемся, паримся, жаримся. В жарилке накаляется наше обмундирование так, что дымится, а вши не погибают… Измучились мы с ними. Что делать? Тогда я тайно решил оставить в кармане штанов зажигалку, а в печку набросал втрое больше нормы сухих дров. Произошел пожар. Сгорела дотла наша «жарилка». Особый Отдел поинтересовался и, не обнаружив признаков умышленного поджога, закрыл это «дело». Привезли новое обмундирование — с иголочки! Вшей не стало с того дня совсем! «Капитулировали!» — смеялись мы.

Ну и одна за другой стали гореть «жарилки» во всех ротах… Никакой особый отдел не взялся расследовать причины этих пожаров…

И наконец-то я выспался! Хоть не на кровати, но в помещении, а не в окопе.

Довелось мне на станции Карповская, где была сосредоточена масса трофейной техники, наблюдать работу пленных немцев. Это было удивительно! Вот мотор отремонтирован и установлен

на испытательный стенд. Заводится с пол-оборота. Обер-мастер, как доктор, внимательно обслушивает его со всех сторон. По его лицу, как по прибору, можно судить о качестве ремонта. Наши механики считают, что двигатель можно ставить на машину. Но обер-мастер сердито и категорично отрубает: «Найн!» По-видимому, он слышит то, чего не слышат наши механики, — какой-то посторонний звук. По-немецки он что-то объясняет своим слесарям, те снова разбирают мотор, подвинчивают какую-то пустяковую гайку на шатуне… «Гитлер капут? Сталин гут! — кивают. — Рус камрад гут!» Будто и не они две недели назад яростно воевали против нас. Наши только руками разводят: «Уму непостижимо!»

Ощущение охватило такое, что войне конец… Ох, как же еще далеко было до конца! Скольким людям еще придется погибнуть от той весны сорок третьего до весны сорок пятого года… В составе 32-го гвардейского стрелкового корпуса наша 66-я гвардейская стрелковая дивизия в железнодорожных эшелонах следовала через Тамбовскую, Липецкую и Воронежскую области в сторону… Курской.

Запомнил в Липецкой области одну милую железнодорожную станцию, где наш эшелон простоял несколько дней. Эта станция и поселок при ней называются Добринка. Название вызывало у нас особое чувство интереса к жителям. Особенно мы подружились с детьми. Детей мы кормили из своей кухни.

Несмотря на трудное материальное положение, в поселке царило праздничное настроение, и все были уверены в скором окончании войны. Старики и женщины старались угощать нас чем могли, и, главное, мы чувствовали их любовь к нам, нашей армии. Была весна, когда особенно не хватало еды, и мы делились своим небогатым пайком с добринскими жителями. По кусочку хлеба или сухарику выкраивали для них. Дети хлеб не ели, а сосали, как лакомство, чтоб продлить удовольствие…

Прости мне, читатель, если описание нескольких дней в Добринке создало впечатление излишней умиленности. Прими во внимание, что как грязное, завшивленное тело потребовало после Сталинградской битвы горячей воды и чистой одежды, так мозг в те дни, чтобы сохранить равновесие, искал резко противоположных впечатлений, а именно: впечатлений добра и человечности. Шел необходимый процесс восстановления души. Ибо, по моему глубокому убеждению, воевать со злом должны только добрые люди.

Милые жители поселка Добринка! Спасибо вам за те весенние дни 1943 года, когда мы после ужасов Сталинградской битвы стояли эшелонами у вас!…

Кажется, на этой станции меня наконец догнала весточка из дома. Отец так и не прочел мое письмо от 6 ноября 1942 года, где я ему сообщал о своем первом уничтоженном гитлеровце. 12 ноября, в возрасте сорока пяти лет, мой отец погиб в шахте…

Больше всех людей я любил своего отца. У меня все от отца моего, которым я горжусь. В 1934 году у него была возможность безнаказанно присвоить четыре килограмма золота, но он не стал этого делать. Даже ревизор сказал моему отцу «дурак» за то, что отец оприходовал в казну эти излишки. Отец был строгий, но справедливый, он был партийный.

Хоть и смутно, но помню я, что в те годы все «партейные» на шахтах приняли решение установить потолок своему заработку — сорок рублей за месяц. Моя мать немного на отца сердилась за то, что «беспартейные» шахтеры получали в два раза больше денег и жили лучше нас. Но мой отец всегда умел уговорить мамку «по-доброму».

Любил ли меня отец? Наверное, любил. Но свою любовь к нам, детям, он старался скрывать. И правильно он делал!

«Если услышу или узнаю, что ты где-нибудь сматерился, шкуру спущу!»… И вот однажды меня отец устроил коногоном на барабанном приводе у ствола шахты. Барабан вращался при помощи «водила» — лошади. Сиди на водилине или верхом на коне и погоняй…

Стволовые мужики дают команды «вира», «майна», «отдай канат!», «стоп!». И я, быстро все поняв, начал зарабатывать свой хлеб.

Мне десять лет. Конь злой, уросливый, пауты одолевают — день знойный… Кони — хитрый народ: «Ага, мальчишка коногонит — можно и поуростить!» А я — какой я коногон, если буду мальчишеским голосом «нукать»? Я тоже не глупее коня и начал показывать свой «характер». Стараюсь басом, по-мужичьи — и с самой ядреной матерщиной «в три господа мать»… Помогло. Конь заторопился выполнять команды.

Я был доволен, что у меня получается не хуже, чем у любого мужика. Мне и стыдно материться, но я вынужден это делать, потому что кони так приучены. Я видел, как бабы, садясь в телегу, сначала отматерят и коня, и свою судьбу…

Вот уже полдня я работаю коногоном. Все нормально. Матерюсь до хрипоты — так надо!.. И вдруг чувствую: спину мне кто-то сверлит. Оглянулся. Стоит мой отец и в усмешке шевелит своими черными красивыми усами. Я чуть с перепугу не кинулся бежать. Сник сразу же и боюсь поднять глаза.

Отец подошел, подал мне пол-литра молока с хлебом и как ни в чем не бывало предложил мне отойти в холодок, присесть и

пообедать. Пока я обедал, отец коногонил.

Я любовался работой отца. Он одним своим присутствием заставил коня работать как надо. Конь не спускал с отца своего хитрого глаза, вывернув белок с красными жилками, как будто понимая, что новый коногон есть царь всех лошадей и зверей. И никаких ему дополнительных слов, оказывается, не надо.

На коротких остановках отец ласково хлопал коня по загривку своей огромной ладонью…

Хорошим помощником хотелось быть мне отцу моему. Я не боялся никакой работы. Отец хвалил меня и радовался, а для меня была великой наградой его радость…

И вот я лишен этой главной награды: отец так и не узнал, что я получил на войне медаль «За отвагу»… Отца больше нет, Суворов погиб… Чье одобрение мне теперь заслуживать? Кому интересно и нужно, хороший я или плохой?..

Моя душа мучилась потребностью любить…

9 апреля 1943 года на станции Давыдовка мы выгрузились из эшелонов и маршем взяли направление на Старый Оскол.

Идем по Воронежской области. «Все для фронта!», «Все для победы!», «Смерть фашистским оккупантам!» — такие лозунги всюду. Колхозники исхудалые, обношенные, в избитой обуви…

Пересекаем границу Воронежской области, идем краем Липецкой — в сторону Белгородской и Курской…

В районе Старого Оскола, в лесу, у деревни Теплый Колодец, наш 193-й гвардейский стрелковый полк остановился на отдых. В этом лесу в начале июня, при соблюдении строгой маскировки, была произведена церемония вручения нового гвардейского знамени.

Новое знамя вручил нашему полку сам командир 32-го гвардейского корпуса гвардии генерал Александр Ильич Родимцев. Помню, как нам было интересно воочию увидеть прославленного генерала, Героя Советского Союза еще за Испанию, увидеть Золотую Звезду на его груди…

Замкомполка гвардии капитан Тукхру Иван Иванович опустился на одно колено, целуя край знамени. И мы благоговейно опустились. А рядом с прославленным генералом, возвышаясь над ним на целую голову (забинтованную в те дни), стоял, опершись на костыли, командир нашего полка гвардии капитан Павел Семенович Билаонов…

Еще под Сталинградом, когда мы узнали, что наша 293-я стрелковая дивизия стала 66-й гвардейской, то мы в первую очередь захотели увидеть нагрудный гвардейский знак в натуральном виде.

Он был очень похож на орден Красного Знамени, и это тем

более вызывало у нас крайнее нетерпение получить его и успеть поважничать. Если вдруг кто-то из наших где-то встречал гвардейца со знаком «Гвардия» на груди (из других родов войск или из другой части), то молниеносно узнавали все, и мы бежали увидеть этот красивый знак своими глазами.

В июне, после вручения знамени, прислали в наш полк и значки «Гвардия». И наконец каждый получил долгожданный значок! У солдат в ту пору мало и редко у кого были медали, а тем более ордена. У многих гвардейский значок был единственным знаком отличия на гимнастерке, и казалось солдату, что ему больше никаких орденов и не надо…

Вслед за знаком «Гвардия» мы получили медали «За оборону Сталинграда». И уж теперь-то, имея на гимнастерке эти знаки, каждому захотелось скорей возвратиться домой с Победой!

Нарисованные от руки гвардейские знаки появились на танках, пушках, автомашинах, тягачах, на бортах двуколок даже. Гвардейские знаки, изготовленные из латуни, мы врезали в деревянные ложи автоматов своих винтовок… Когда и как ухитрялись солдаты их делать, неизвестно.

В зимний период мы носили свои гвардейские знаки поверх шинелей, чтоб сразу было всем видно — перед тобой гвардеец! А у комсомольцев рядом со значком «Гвардия» еще и комсомольский значок, это обязательно… Так что грудь все равно была как бы «увешана» знаками отличия, и это согревало солдатскую душу.

Уходя, например, в разведку, солдат бережно отвинчивал их все с гимнастерки или с шинели и вместе с документами сдавал своему политруку на хранение до возвращения с задания…

Тут психология солдатская простая: войне уже два года, а после Сталинграда как-то особенно стыдно не иметь на груди хотя бы медаль. Что же ты делал там, спрашивается, если не заслужил ни одной награды?! Ну, «За оборону Сталинграда» медалью наградили всех нас, кто остался живой. «За отвагу» я получил — это еще за первого своего уничтоженного гитлеровца. А сколько их было уничтожено между этими двумя наградами…

Помню, еще под Сталинградом всем нам были выданы химпакеты, что-то вроде «противоиприта» — пол-литровые флаконы с вонючей жидкостью, в которой есть спирт. Выпить не выпьешь, но разжечь, к примеру, костер удобно. Ну а был строгий запрет сжигать химпакеты, и политрук нашей минометной роты — не помню его фамилии, он к нам пришел после Хисматуллина Фаткуллы, который все допытывал каждого солдата, кем кто хотел быть, для книги, и погиб в первом нашем бою, — так вот, политрук этот как-то особенно рьяно преследовал нарушителей

запрета. Как обнаружит, что кто-то израсходовал свой химпакет, то чуть ли не доводил дело до трибунала. Но холод, как и голод, не тетка. Жгли химпакеты и мы, и в других ротах. Вот и политрук наш однажды не вытерпел и, спрятавшись в землянке, тайком от посторонних глаз решил погреться. Он плеснул из флакона в печурку, да без привычки. Огонь вымахнул ему на руку с флаконом, он флакон резко отдернул и облился… Чуть не сгорел человек. Ну а я со своим язычком, когда бинтовали пострадавшего, не стерпел, чтоб не съехидничать едко: мол, запрещаешь, так сам не нарушай. Он меня за то ехидство сильно невзлюбил. А я и посейчас считаю, что был прав. Нельзя и даже антипедагогично другим запрещать то, что позволяешь себе: обратный эффект можно получить от такой педагогики. И не сказать ему это я не мог, я же был парторг роты.

Я за войну много знал политруков. В основном это были хорошие командиры, мудрые наставники. Они увлекали и «наставляли» солдат прежде всего личным примером. Надо сказать, что солдаты, особенно малограмотные, уважали политруков, которые могли доходчиво объяснить цель войны, ситуацию на фронте и в мире. Ведь что самое важное для солдата? Самое важное, чтобы он был сыт, знал, за что воюет, и верил своему командиру. А у меня, с моим еще с раннего детства впитанным: «партейные» должны быть примером для «беспартейных» — так и вовсе не умещалось в голове, что политрук может оказаться ниже того уровня, на который я его заранее ставлю только за то, что он политрук! Но и с еще одним политруком в нашей роте — Снесарь или Снесаль была его фамилия — мне не повезло.

Увидел у меня однажды трофейные наручные часы: «Отдай!» Я не жадный, но что-то мне в его тоне не понравилось. «В бою у фашиста отбери, как я», — пока еще в шутку ему говорю. «Отдай, в долгу не останусь!» Удивленно спрашиваю: «Что значит, в долгу не останешься?» — «Представлю к награде!» — говорит. «Всадить или не всадить?!» — размышляю. И я представил себе: трибунал, строгий прокурор и приговор — «К высшей…» Наконец я раздумал — «невыгодно для меня!» Но отчетливо говорю: «Ты! Торгаш! Ты говно! Ты продажная шкура! Родина меня наградит, если заслужу, а не ты!» На мое удивление, он с ехидной улыбкой спокойно выслушал мои оскорбления, в ответ обозвав «мальчишкой желторотым»… Ну, в общем «поговорили»… Награждает-то Родина, да представляют к награде конкретные, живые люди…

Нельзя сказать, что в лесу, в районе Старого Оскола, возле деревни Теплый Колодец, где мы набирались сил для

предстоящих боев и появилось время для размышлений, я слишком много размышлял про награды. Конечно, понимал, что почти все мои друзья-товарищи погибли и для меня главная награда, что остался живой.

Я был запевалой еще с Ташкентского училища. «Голос командирский», — говорили наши преподаватели. Командиром быть не довелось, но запевалой был. Любили мы петь «Катюшу», «Эх, тачанка-ростовчанка», «Трех танкистов», «Артиллеристы, Сталин дал приказ», «Священную войну»… Но была еще одна песня, называли мы ее «Калинка». Мотив «Калинки», а слова наши. Слова придумали про вологодского водовоза. Сатирические, лирические, острые, озорные, — словом, сногсшибательные слова… Пели со свистом и гиканьем.

Сначала своих слушателей — это были в основном бабы, девчата, старики, старухи, дети — заставим плакать над песнями «У каждого дома подруга родная, у каждого дома жена…» или «На окошке у девушки все горел огонек». Они наплачутся сначала, а когда грянем «Калинку» нашу — у всех рот до ушей… И руками отмахиваются, закрываются платками, разрумянятся, а самые смелые начнут наплясывать! Поем, бывало, до хрипоты, и все просят и просят спеть еще «Калинку»…

— Мансур, — спрашивали меня, — ты артист, наверно?

— Нет, — говорю я, — шахтер!

Комполка Павел Семенович Билаонов меня запомнил из всех многих тысяч своих солдат только благодаря тому, что я был озорным запевалой. Нравилась ему наша «Калинка», и мы ее часто исполняли по его личной просьбе.

А я запомнил Билаонова еще с Бузулука. Он был тогда старший лейтенант, но высоченный рост, атлетическое сложение, пышная шевелюра на крупной голове, высокий лоб, вразлет — крыльями беркута — брови, уверенно-властное выражение глаз и, главное, громовой командирский голос и орден Красной Звезды на гимнастерке заворожили нас, курсантов, сразу выделили его среди прочего начальства штаба дивизии, перед которым мы построились, выгрузившись из эшелона. Кто он?.. Сразу заработали локтями, зашептались. Скоро «солдатский телеграф» донес: Билаонов Павел Семенович, начальник оперативного отдела штаба дивизии, по национальности осетин… Понятно стало, откуда эта завораживающая осанка лихого джигита…

И вот теперь гвардии капитан Билаонов Павел Семенович — командир нашего 193-го гвардейского стрелкового полка!

Нечего греха таить, надо прямо и откровенно признаться, что солдату на войне хочется воевать под командованием Чапая, Буденного, Котовского, Блюхера (легендарные командиры, герои

Гражданской войны. — *Прим. ред.*)… Неинтересно солдату без Чапая воевать! Формально оно не должно иметь никакого значения, кто является твоим командиром: солдат обязан выполнять устав, и точка! Но солдату хочется любить своего командира не уставной, а своей личной любовью. Солдат не распространяется о своем отношении к Чапаю, но любовь эта помогает самому солдату легче переносить тяжелую фронтовую работу.

Хочешь не хочешь, но большую роль туг играют внешняя выправка, осанка, голос… чисто человеческое обаяние, наконец. А если твой красавец командир окажется еще и бесстрашным и находчивым в боях, за таким командиром солдаты, не оглядываясь, пойдут в любое пекло. Наши сталинградцы еще помнили и рассказывали новому пополнению про бой за «пять курганов», в котором Билаонов появился среди солдат соседнего полка в самую критическую минуту и на самом опасном участке остановил отступление наших батальонов.

Мы теперь гордо называли свой полк «билаоновским», а себя — «билаоновцами»…

Заместители у Билаонова — комиссар полка гвардии капитан Егоров Владимир Георгиевич и эстонец гвардии капитан Тукхру Иван Иванович. В общем, наш полк теперь возглавили «три капитана» — три гвардии капитана!..

Пополнение стекалось к нам со всех концов страны, всех национальностей. Мы узнавали через них, как и чем живет наш народ в тылу, во всех близких и дальних уголках нашей необъятной Родины. Из рассказов сибиряков было понятно, что в Сибири люди живут и трудятся в более или менее лучших, чем где-либо, условиях — в материальном отношении тоже. «Все правильно, — подумал я, — тайга-матушка выручает!» И тебе черемша, и тебе грибы — грузди, ягоды навалом, орех кедровый, картошки накапывают по сто-двести мешков на семью, сено коси сколько хочешь, пчел полно держат… Но не жадничают, отдают много в фонд обороны, трудятся на пределе возможностей для фронта, ждут Победы.

* * *

Конец июня 1943 года. Северо-восточнее от нас в семидесяти километрах село Прохоровка. Лето жаркое. Ни единого облака, ни капли дождя. Воздух стоит раскаленно-неподвижный. Полк наш с утра до вечера на тактических занятиях. Я теперь командир первого основного миномета и помкомвзвода. Учим молодое

пополнение, чему научились под Сталинградом, да сами добираем то, что недобрали в Ташкентском пехотном.

Мы знали все характеристики «тигров», «пантер», «фердинандов» и других танков и самоходных пушек. Наши артиллеристы получили новые противотанковые пушки. Увидели мы и новые самоходки со 152-миллиметровыми пушками. И пехота имела надежную противотанковую «артиллерию» и в достаточном количестве: все стрелки и автоматчики носили при себе противотанковые гранаты, а в обозах было достаточно бутылок с горючей жидкостью.

Мы не теряли даром время — нас каждый день «утюжили» наши «Т-34»… Учились кидать бутылки с горючей смесью, противотанковые тяжелые и очень мощные гранаты ударного действия. Такая граната может взорваться и в руке, если случайно заденешь ею за борт окопа при взмахе. Но если она попадает в танк, то мощным своим взрывом может его остановить.

Мы, фронтовики, говорили новичкам, что «тигры», «фердинанды», «пантеры» и другие танки имеют уязвимые места. Действовать надо вдвоем. Надо только пропустить танк через себя, то есть через свой окоп, и тогда один ведет огонь по вражеской пехоте, чтобы остановить ее, а другой бросает вслед танку бутылку или гранату…

По интенсивности «учебных боев с танками противника» мы догадывались: вот-вот начнутся тяжелые сражения с массой вражеских танков…

В ротах идет прием в ряды ВКП(б). Все поголовно солдаты хотят принять предстоящие бои коммунистами…

Как-то мы, выбрав огневую позицию, приступили к рытью окопов в полный профиль. Пошел наконец ливневый дождь, но мы до темноты не прекращали работу: «Тяжело в ученье, легко в бою». Сооружен был у нас и блиндажик с накатником — с толстым слоем земли на крыше. В блиндаже сухо, разместились удобно.

Подошла походная кухня, и мы сытно поужинали. Дождь между тем хлещет не ослабевая. Хлопцы стали устраиваться на ночь спать. Часовой занял свой пост. Я же, перед тем как лечь, привычно нащупываю свой талисман… И тут сон мой улетучивается — карманчик в брюках пуст! Сначала я просто сидел ошеломленный и без единой мысли в голове… Потом стали появляться мысли. Поискать?.. Где?! В изрытой мокрой земле, которую перемесило множество солдатских ботинок? В высокой траве под ливневым дождем и в темной ночи? В чистом поле, где вокруг окопов накидана земля?..

Потерял все-таки… Значит, я буду убит.

И вот поди ж ты разберись в себе, человек! Сижу в блиндаже, понимаю, что теперь вроде бы уж и погибнуть не так страшно, как в самом начале, еще до первого убитого мною гитлеровца, — уж теперь-то сколько я их отправил за себя на тот свет! А не хочется умирать. Теперь уже потому не хочется, что живой остался под Сталинградом и, наверное, скоро войне конец…

Пытаюсь убедить себя, что все это чушь. Ведь талисман, если здраво-то рассудить, — символ, который я сам себе выдумал. Ну при чем здесь, спрашивается, эта маленькая штучка и моя… жизнь или смерть?.. И зачем только я связал себя этим символом! Вот не было печали-то!..

Какая-то неведомая сила мне велит: «Иди ищи!» И дождь внезапно остановился. Я вышел из блиндажа. Ни даже крошечной надежды у меня не было, что найду.

Всюду истоптанная мокрая глина. Всюду глубокие следы ботинок, наполненные водой… Отец хотел, чтобы я после семилетки пошел в горный техникум на мастера. А мне страсть как хотелось поступить в художественное училище! Рисовать люблю — умираю! Получилось же — ни туда и ни сюда. Заработков отца нам не хватало, а тут еще переезд с Алтая на новое место — в Среднюю Азию… Пришлось надеть шахтерскую робу и пойти на шахту, сперва откатчиком, а потом забойщиком… Эх, остаться бы живым! Всю бы жизнь на шахте работал! А рисовать… Что ж, рисовать бы и так рисовал…

Смотрю на чей-то огромный след… Не иначе ботинок Конского Ивана… Или Сереги Лопунова. У них лапы сорок последнего размера. И вдруг замечаю: на каблучном следе — тоненькая, со спичку вроде, палочка… Я нагнулся, ковырнул ногтем и поднимаю эту палочку-желобок. Ближе осветил фонариком, понюхал изнутри желобка — пахнет никотином. Руки затряслись! Осторожно, еще боясь впустить в себя огромную бешеную радость, исследую заполненный водой след и достаю вмятые под водой в глину еще три палочки желобком!.. Да, это был раздавленный, расколовшийся на четыре части мой мундштучок… Талисман мой!

В блиндаже достал я из вещмешка нитки, сложил вместе четыре части мундштука и крепко смотал их ниткой. Потом спрятал свой талисман в брюки на прежнее место и зашил карман наглухо. Мне после такого переживания огромного горя теперь захотелось уснуть. И вижу я опять себя убитым с раскинутыми ногами и руками…

Все в блиндаже спали, никто ничего не видел.

«Наверное, меня тяжело ранит», — подумал я.

Танки

Наша 66-я гвардейская стрелковая дивизия в составе 32-го гвардейского стрелкового корпуса 5-й гвардейской армии Степного фронта стояла перед началом Курской битвы во втором эшелоне боевого порядка наших войск, то есть на семьдесят километров севернее Прохоровки. Но поскольку немцы сумели взломать нашу оборону и передовые наши части отступили, к рассвету 12 июля 1943 года мы с марша вступили в бой.

Нигде до этого и после этого сражения я не видел такого скопления артиллерии. Командиры артдивизионов разных калибров не сразу могли найти себе огневую позицию так, чтобы при стрельбе не помешать соседям и чтоб самому стрелять было удобно. Артиллеристам на поле боя было тесно!

Грохот орудий с утра и до вечера не затихал ни на минуту. От густой копоти и мы, пехота, были похожи на кочегаров, непрерывно кидающих в топку уголь, в бешеном темпе, в дыму горящих танков, взрывов снарядов, стрельбы всех видов оружия… Блестят белки глаз и зубы… Каждый, обливаясь потом, в своем окопе и на своем метровом участке методично делал свою работу, как в гигантском цехе, уже забыв о страхе, отдавшись на волю случая: убьет или не убьет. В такой рубке все равно не убережешься, и руки делали нужное почти автоматически…

Откатываясь назад, фашисты тут же с новой силой атакуют наши позиции, но безуспешно. Сколько раз за день? Уперлись одни против других. Кто кого одолеет? Уперлись мощь о мощь, сила о силу…

О напряженности боев можно судить по тому, например, что над передним краем проливался дождь из искусственно образовывавшихся туч. Свинцовые тучи на небе показывали изогнутую линию фронта. А в это же время в тылу ни у немцев, ни у нас ни облачка. Нигде потом я не наблюдал подобного явления в природе.

Все это пышет жаром, и раскаленный воздух с утра до ночи поднимается кверху… Как тут не образоваться искусственным грозовым облакам?!

В небе тоже целыми днями идут воздушные бои. Осколки и пули осыпаются градом, но это ничего, а смотри в оба, чтобы не накрыло тебя падающим самолетом! На парашютах приземляются тут же то фашистские, то наши летчики… Опять же смотреть надо, чтоб не спутать своих с немцами.

Очень часто приходилось видеть, как летчики, спускаясь на парашютах, продолжали между собою бой, стреляя из пистолетов.

Помочь бы надо, но как?! Хоть бы на парашютах на наших звезды были или весь парашют был одного цвета…

На войне я редко рисовал, в боевых условиях не порисуешь, но запоминал… А под Прохоровкой ухитрился все же нарисовать «боевой листок» — целую стенгазету: как наша неповоротливая артиллерия перемалывает фашистские танки, не давая им проскочить. В одном из сражений 12 июля один только взвод Леонида Ночовного уничтожил пять танков типа «Тигр», а мы, легкая на подъем пехота, опять немножко увлеклись «маневрированием». Не следует заблуждаться в том, что артиллеристы стреляют только из-за укрытий и далеко сзади пехоты. Нет. В большинстве случаев до калибра 152 миллиметра пушки использовались рядом с пехотой, хотя мы, пехотинцы, часто вынуждены были чуть-чуть «маневрировать» и оставляли своих артиллеристов один на один с гитлеровцами…

Увидев мою стенгазету, один наш солдат засмеялся стонущим смехом и долго не мог успокоиться: «Он еще может рисовать!» Бормотал и смеялся, как тяжелобольной… Ему было непонятно, как человек может заниматься рисованием тут — среди сплошной смерти, среди трупов, среди искореженных танков и орудий.

Но как ни «маневрируй», а ряды наши редеют. Каждую ночь мы получаем подкрепление — новые маршевые роты свежих сил… А с утра опять: «Кто кого?!»

Для большей эффективности поражения немецких танков наши солдаты делали связки из двух гранат с добавкой к ним «для похмелья» одной бутылки с «шампанским». Но такие связки необходимо обязательно забрасывать на расстояние от себя не менее чем полсотни метров, так как от слишком мощного взрыва можешь погибнуть и сам! В нашей роте могли забрасывать такие связки немногие. Это Лапунов Сергей, Худайбергенов Фуат, Шамрай Василий, Ершов Матвей, Янсон Алексей и другие силачи. А такие «жиденькие» солдаты, как, например, Костя Мартынов по прозвищу «Мартышка» и Школьников Петька делали для них связки, употребляя трофейный телефонный крепкий провод. Но наш Костя очень хотел сам лично уничтожить «тигра». Для этого он уже много раз напрасно копает впереди нейтралки в тридцати-сорока метрах запасной окоп, откуда он собирался бросить под гусеницу свою тяжелую связку. Однажды фрицы решили нас столкнуть с так называемой «господствующей» высоты, которую мы «на глазок» не могли определить, так ли это на самом деле. На нашу роту выдвинулись немецкие танки и поперли с сотнею своих автоматчиков.

Один крайний танк быстро идет по направлению к одному из

Костиных окопов. Костя, схватив свою тройную связку, низко наклонившись, моментально перебежал в свой окоп. На нашем левом фланге уже наши ребята подорвали первый «тигр». Пулеметчик Шамрай Василий своим «максимом» отсек от танков автоматчиков и прижал их длинными очередями к земле. А тем временем к Косте почти вплотную подошел «тигр» и остановился, готовясь выстрелом из своего орудия уничтожить нашу пулеметную точку. Шамрай, заметив это, нырнул в свою «ячейку». Одновременно мы увидели, как Костя выскочил из своего окопа, держа связку обеими руками, и, размахнувшись низом, забросил ее под гусеницу «тигра». Вроде бы Костя успел до взрыва спрыгнуть обратно в свой окоп. Грохнул сильный и оглушительный взрыв. «Тигр» разулся и дернулся, чтобы продолжить свое движение вперед. Но, работая одной гусеницей, развернулся и свалился на бок, после чего загорелся от «шампанского», добавленного подоспевшими ребятами…. В результате контратака гитлеровцев нами была отбита. Немцы потеряли два своих «тигра» и с полсотни солдат. Нашими потерями были десять убитых, в том числе и Костя, и двенадцать раненых. У Кости из ушей течет кровь, а его глаза вылезли из орбит… Костя, 1925 года рождения, родом из Челябинской области Миасского района, был награжден орденом Красной Звезды (посмертно)…

Однажды утром я с парторгом батальона решил встретиться с новым пополнением и с их настроением. В результате мы увидели «живые трупы». Они уже успели оглядеться вокруг себя и были шокированы страшной картиной сгоревших танков и разлагающихся трупов, источавших сногсшибательную вонь. Новобранцы, как глухонемые, виновато молчали, не реагируя на наши вопросы. Как поднимать батальон в атаку? А если и поднимем, то как будут сражаться в ближнем бою солдаты, если они уже морально убиты?

От бессилия что-то предпринять, чтоб как-то вывести их из шокового состояния, мы были вынуждены сказать об этом своему комбату гвардии капитану Гридасову Федору Васильевичу (который живет в настоящее время в Таганроге): тем более вот-вот фрицы могут нас атаковать.

Наш комбат приказывает:

— Подать коня!

Конь у комбата находился всегда невдалеке. Привели на КП комбату коня. А что будет дальше? Никто не понимал… Через пятнадцать минут комбат, лихо взлетев в седло, на коне вылетает на нейтральную полосу и несется галопом с фланга на фланг на виду у нас и у фашистов… Мы были удивлены молчанием

пулеметов и тем, что немцы криками «Бр-р-р-а-в-о!» сопровождали дикую скачку смелого всадника. Я, стараясь не выпустить комбата из своего поля зрения, успевал наблюдать и за нашими новобранцами. Они, забыв все свои страхи, «болели» по-фанатски за жизнь комбата, который играл со своей смертью. «Живые трупы» ожили. Между тем комбат, интуитивно почувствовав, что пора кончать свой цирк, внезапно исчез с арены, а фрицы запоздало вдогонку открыли огонь из пулеметов.

Неразумно? А каким еще другим способом можно было бы за три минуты вывести сотни людей из гибельного шокового состояния перед сражением?! Проникновенной речью? Не поможет!

Наши комбаты то и дело выбывали из строя и снова возвращались в свой батальон, едва подлечив раны…

Солдаты очнулись. Им теперь неловко было перед командиром, который продемонстрировал им свое бесстрашие. Через час батальон, отбрасывая контратакующего врага, успешно продвигался вперед… И мы вышли на рубежи, которые занимали наши передовые части до 6 июля!

Едва мы начали закрепляться на прежних позициях наших передовых частей, начался сильнейший артналет: фашисты контратаковали. Не успев еще окопаться, я кинулся в укрытие под сгоревший фашистский танк. Заползая под брюхо танка, увидел неподвижно лежащего на спине нашего солдата. Ноги у него целые, обутые в ботинки. Ползу дальше и удивляюсь тому, что если это труп, то почему он не вздутый — жара стоит такая! Потрогал я его за ноги и даже дернул сильнее — молчит. Подполз к голове и ужаснулся. Головы не видать совсем, так как облеплена белыми червями, похожими на муравьиные яйца или на рисовую крупу. Я даже перестал обращать внимание на взрывы вокруг танка — вижу, как медленно то поднимается, то опускается грудь солдата… Ухом прильнул к его груди и услышал — бьется сердце!.. Я как следует приметил этот танк.

А к вечеру бой стих — контратаку мы отбили и удержались на позициях — нашел я замеченный танк. Санинструкторы принесли носилки, вытащили солдата из-под танка и увезли в медсанбат. Его звали Игнатов Федор Васильевич. Я фамилию, имя и отчество запомнил, прочитав в красноармейской книжке. Жив ли он теперь? И где он теперь? Я ему спас жизнь. Случайность, конечно. Просто обратил внимание, что «свежий труп» нашего солдата лежит на позициях, которые были в руках у немцев пять суток. Не знаю я, сколько мог бы прожить этот чудо-богатырь еще? Какая жизненная сила помогла ему не умереть пять суток без воды, без помощи… «И хорошо еще, что мы вернули этот

рубеж и удержались на нем опять», — думал я.

На следующий день передавали друг другу солдаты, что Игнатов Федор очнулся в медсанбате и рассказал, что его ранило 6 июля в голову, когда батальон отходил назад. Он, очнувшись ненадолго, догадался, что кругом немцы… Рядом догорал танк, который он же сам зажег бутылкой, решил заползти под этот танк и больше не помнит ничего… Я был рад, что человек остался жить, хотелось мне сбегать в медсанбат, чтоб с ним вместе порадоваться его чудесному спасению, но это было нереально…

* * *

Середина июля 1943 года. Рано утром мы увидели на немецкой стороне на пшеничном поле странное и загадочное зрелище. Все поле было занято ровными рядами одинаковых куч, составленных из настоящих связанных снопов. Пока мы удивлялись и не понимали, зачем надо было немцам ночью скосить пшеницу, связать ее в снопы и составить в кучи, немцы из своей артиллерии начали обстреливать нейтральную зону. Снаряды при ударе о землю разбивались, выделяя густой белый дым. Мы очень перепугались, решив, что это немцы начали применять отравляющие газы. Ветер сносил дым вдоль фронта, но мог в любой момент повернуть и на нас! Противогазы мы побросали давно, и у многих на боку болтались только сумки от них, набитые гранатами и патронами. Что делать? Где взять противогаз? Зачем я, дурак, бросил! Ну вот теперь получай за свою дурость и не реви…

Сидим. Глядим. А снаряды все гуще и гуще о землю — бух! бух! — и дымят, и дымят… Вот уже ничего не видать нам, что делается на стороне фрицев. Только на слух поняли мы, что идут под дымовой завесой фашистские танки. Ну, слава аллаху, пусть будут лучше танки, чем отравляющие газы… Когда дым немного рассеялся, пшеничных снопов мы не увидели. Немецкий танк, преодолевая нашу траншею, выстрелом из своей пушки над нашими головами куда-то вперед оглушил нас с резкой болью в перепонках ушей. Мы, несколько человек, от газово-воздушного удара свалились в общую кучу. Этот танк ушел в глубь нашей обороны, а за ним пронеслись еще несколько танков, обваливая борта нашей траншеи, и мы едва выбрались из-под земли и, вооружившись бутылками и гранатами, приступили к своим обязанностям — их уничтожать! Немного погодя у меня «отложило» в ушах с какими-то щелчками, и я обрадовался, вновь услышав страшный и остервенелый грохот и рев моторов.

Кроме всего, мы от дыма горящих танков и танкистов задыхаемся от едкого запаха, от которого многие впадали в обморочное состояние. В общем адском гуле и грохоте мы не могли определить, чья же сторона берет?! Один наш солдат, лишившись зрения, мечется по траншее и душераздирающе кричит: «Не бросайте меня! Лучше застрелите!» Чтобы успокоить его, я подошел к нему и громко кричу ему в ухо: «Успокойся!» Он схватился за рукав моей гимнастерки и, не дав мне договорить, радостно тихо говорит: «Я тебя по голосу узнал! Ты наш комсорг! Я ведь не ошибаюсь?!» И, ожидая, что я ему отвечу, затих и широко открыл глаза и рот. «Успокойся, мы никогда не бросали своих товарищей, и тебя мы не бросим! Ты только успокойся и не мешай нам уничтожать танки и немчуру!» Он успокоился, и я его поместил в одну из «ячеек» траншеи, усадил его, дав из своей фляжки воды. Но он опять тихо спросил: «А чья берет?» Я спокойно и уверенно ответил: «Пока наша!» И тогда он отпустил меня, в самом деле сидел хоть и настороженно, но молча. И только я отошел от него, в этот момент танк провалился одной своей гусеницей в нашу траншею и сел брюхом на борт траншеи. Мотор взревел, и танк окончательно застрял. Откуда-то появился Борис Полыга и бросил на заднюю площадку танка бутылку. Вспыхнуло пламя и исчезло, нырнув внутрь.

Только после полудня неожиданно наступила тишина. Нетерпеливые наши хлопцы, опасаясь, друг за другом начали вылезать из траншеи, чтобы посмотреть вокруг на результат побоища.

Ближе к вечеру в нашей траншее появились несколько офицеров чином не меньше майора, с фотоаппаратами, чисто выбритые, разящие духами, в новеньких диагоналевых гимнастерках с белоснежными подворотничками, в новых касках на головах, при широких кожаных ремнях с портупеями «крест-накрест», вооруженные пистолетами в раскрытых блестящих кожаных кобурах и с планшетами через плечо. Они продвигались по траншее, боязливо согнувшись. Один из них строго спрашивает, обратясь ко всем: «А кто тут у вас старший по званию?» Хлопцы взглядами в мою сторону спрашивают меня: «Как отвечать?» Я незаметно отрицательно мотнул головой, и Борис Полыга отчеканил: «Это военная тайна!» Под наш гомерический хохот гости исчезли туда, откуда явились.

Спустя тридцать лет после войны на первой встрече наших однополчан в Полтаве (наша дивизия называется «полтавской») мой друг, адъютант комполка, Корсунов Николай сообщил мне о том, что за битву на Курской дуге комдиву был передан список заслуживающих Золотую Звезду, в котором была и моя фамилия.

Он не подписал только потому, что в этом списке не увидел свою фамилию…

* * *

Снова пришло пополнение из глубокого тыла, снова ищу своих земляков… Опять опросы и допросы о житье-бытье там, в глубоких тылах. А к нам встречные вопросы: «Как тут? Какие «они» теперь?» — всем интересуются новички. Фашисты, завоевавшие половину Европы за год и десять месяцев наскоком, без особого напряжения, и вот уже на два года увязнувшие в кровопролитных боях с нами, должны были, конечно, измениться в своем настроении.

В нашу минометную роту прибыл из Сибири, из города Красноярска, Янсон Алексей Иванович. На вид он непременно штангист-тяжелоатлет или борец. Или шахтер?.. В общем, богатырь Илья Муромец! Но и что-то есть в нем от интеллигента… Не понять никак! Узнаем потом, кто он такой, никуда не денется! А пока надо его в свой боевой расчет забрать! Уж больно силен — один упрет весь миномет за троих!

О Борисе Полыге я хочу сказать еще несколько слов. Он пришел на пополнение нашей роты в июле месяце. Я заподозрил что-то неладное — уж очень молодо он выглядел, а между тем год рождения значится 1925-й… Не верится мне: хитрит что-то. Неужели не успел вырасти к восемнадцати-то годам? В минометчики он явно не годится. Что с ним делать? Не знаем. Командир роты лейтенант Стукач согласился, чтоб я его взял к себе в качестве связного при НП. Борис обрадовался: завтра я с утра дежурю на КП батальона и возьму его с собой. А пока решили вместе поужинать, чтобы получше познакомиться.

Любопытен я очень и люблю откровенные беседы один на один с любым человеком, в том числе с ребенком. Пробовал вызывать на сердечный разговор самых замкнутых. Мне легко удается войти в доверие к человеку совсем незнакомому, он мне расскажет даже то, о чем не расскажет самым близким, потому что я ценю откровенность и оберегаю ее, а мой собеседник и волнуется и радуется, получив «разгрузку души», и нам обоим хорошо. Беседуя, к примеру, со священником, ловлю себя на том, что спорить слабоват, так как не знаю Священное писание, но священник неожиданно признает, что я во многом прав… Иногда результат беседы с кем-нибудь меня разочаровывает: мой собеседник примитивно мыслит. Пытаясь понять причину, бывает, спрашиваю: «А какое образование?» Ответ ошеломляет:

«Высшее!» Есть же совсем неграмотные или совсем молодые, неопытные, а рассуждают мудро…

Боря Полыга мне рассказал, что его отец генерал и начальник военного училища. Я не помню, куда это училище было эвакуировано в то время, но до войны оно было в Ленинграде. Борис с детских лет в основном и проводил время среди курсантов отцовского училища. А когда подрос и решил стать военным, то поступил в другое военное училище — на стороне. Но и там его звали «генеральский сынок», и там намекали, что папа-генерал обеспечит ему «теплое местечко» где-нибудь в Генеральном штабе и так далее. Тогда Борис взял недельный отпуск, якобы для поездки домой, а сам, сев в воинский эшелон, махнул на фронт. Теперь его беспокоило, как бы ему не пришили дезертирство или самоволку.

Да, у Бориса положение сложное, и я ничем не мог помочь ему. Дезертирство ему не припишешь… Самоволкой тоже не назовешь. Вроде бы и преступления нет, но… Я ему посоветовал хотя бы написать письмо начальнику училища.

Борис письмо не написал, а я ему больше не напоминал. Шли бои, комсомолец Полыга бегал связным и выполнял все поручения с великим старанием. Меня он просил никому не рассказывать о своем побеге из училища и что его отец генерал.

В нашей роте Борю полюбили, и он даже как-то повзрослел; мне он сознался и в том, что прибавил себе два года, фактически он был с 1927 года рождения. Вот, оказывается, в чем кроется причина его малого роста — ему всего шестнадцать лет.

После жестоких сражений немцы отступали податливее, но решили сжечь все после себя. Горели села и поля. Горело все, что могло гореть. Немцы пунктуально выполняли приказ: «после себя оставлять выжженную зону»… Мы двигались в сплошном дыму пожарищ…

Отбили крупные населенные пункты Тамаровку, Борисовку… Горели табачные склады и плантации. Дышим табачным дымом все: и курящие, и некурящие…

…Выбив из Тамаровки немцев, мы заняли оборону и решили на всякий случай «зарыться» в землю. Наше отделение должно окопаться во дворе одного дома. Хозяйка, словно стукнутая пыльным мешком из-за угла, заметалась по двору и, обливаясь слезами, просила: «Не копайте тута! Бомба сидит! Ей-бо!» Сама неистово крестится. «Не! Не! Не тута, а вот тута!» Нам было смешно и непонятно — «где можно и где не можно». Дошло и до ротного. «В чем дело?» Он повернулся ко мне и, сказав: «Разберись!» — ушел. Хозяйка как глухонемая уставилась в мои глаза, потом она движением своих глаз показала на окно, в

котором я увидел троих истощенных малолетних и большеглазых стриженых ребятишек. Я догадался о ее тревоге и не ошибся… Мы отступили шага на три и приступили к земляным работам. Хозяйка успокоилась и ушла в дом. Дети продолжали смотреть в то же самое окно, но уже веселые…

Вечером я зашел в дом и спокойно спрашиваю ее: «Что там у тебя во дворе зарыто?» — «Сало свиное соленое — про запас. Спрятали прошлой осенью от немцев. А тебе спасибо, хоть и вы голодные сами. Теперь я спасу от голодной смерти своих детей…»

Точно не помню, но, кажется, село называлось Драгунск. Немцы крепко засели в этом селе и построили на подступах к нему глубоко эшелонированную линию обороны. С ходу мы смогли только вклиниться в эту оборону до середины и засели там, запутавшись в густой сети траншей-лабиринтов, как в пчелиных сотах. Мы так близко контактировали с немцами, что слышны были их негромкие разговоры между собой. Ни наша, ни их артиллерия не могла в таких условиях вести огонь. Пошла в ход, так сказать, «карманная артиллерия». Война пошла гранатная. Но и гранаты, оказалось, надо бросать умеючи. С задержкой в руке на две секунды! Если бросишь без задержки, то немцы успевают ее швырнуть обратно.

А бросать надо было так: выдергиваешь сначала чеку, потом отпускаешь флажок предохранителя и держишь гранату, шипящую, две секунды, а потом бросаешь, и она взрывается как шрапнельная — в воздухе над головами немцев… Как страшно было отпускать флажок и ждать две секунды… А вдруг, думаешь, рабочий ошибся при сборке механизма гранаты и она взорвется раньше!.. Но механизм срабатывал точно. Я с благодарностью думал о наших людях в тылу, которые, денно и нощно изготавливая эти гранаты, «лимонки» Ф-1, не позволяли себе небрежности, хоть и очень уставали. Они понимали, что малейшая невнимательность при сборке механизма может стоить жизни нашему солдату на фронте. В первый день подступа к Драгунску, когда гранат не хватало, мы выкуривали фашистов из траншей-лабиринтов, работая саперными лопатками, стреляя в упор из автоматов, пистолетов и даже из ракетниц. Но потом нам стали поступать гранаты в достаточном количестве…

От самой Прохоровки нашему 32-му гвардейскому стрелковому корпусу постоянно противостояли танковые дивизии фашистов «Мертвая голова», «Великая Германия», «Рейх», а также мотомеханизированная стрелковая дивизия. Кроме этого, нам выпала судьба сражаться с частями «русской освободительной армии» предателя Власова. Власовцы сознавали свою полную и неизбежную катастрофу, но боялись сдаваться добровольно и

дрались отчаянно. В плен мы их не брали.

Никак не можем вырвать Драгунск из лап фашистов и власовцев. Нашему батальону загородила путь пулеметная точка в железобетонном колпаке. На узенькой нейтральной, ровной как стол полосе эта пулеметная точка не давала поднять ротам головы. А с флангов немцы умело и надежно охраняли ее. Ночью тоже, бросая беспрерывно ракеты, не давали возможности незаметно подползти к колпаку и забросать его гранатами. Артиллеристы не могли стрелять из-за того, что боялись задеть своих. Минометный же огонь не причинял железобетонному колпаку никакого вреда.

Наш комбат гвардии капитан Дудко Игнат Севостьянович нервничал и искал способа уничтожить точку, но тщетно — пулемет гитлеровцев работал… Я в тот день дежурил на НП батальона вместе с Борисом Полыгой.

Борис от нечего делать через перископ изучает местность. Ничего не скажешь — ловко: ни одной «складочки» вокруг колпака! Даже травку вокруг мы хорошо «побрили» своими минами.

Пробовали стрелять мы и из противотанкового ружья — бесполезно: пулемет продолжает работать…

Смотрю, Бори нет на НП… В это же время на КП батальона явился по заданию комполка Билаонова его адъютант лейтенант Корсунов Николай Степанович. Коля — так мы его все в полку звали за его приветливый характер — доложил комбату о цели своего прибытия, и они приступили к выработке плана действий по уничтожению точки.

Вдруг комбату докладывают из стрелковой роты, что минометчик рядовой Полыга взял у них «по-соседски» шесть «лимонок» и уполз по нейтральной полосе в сторону фашистских траншей. Я, как услышал, сразу позвонил своим в минроту, что Борис самовольно пошел на уничтожение пулеметной точки и теперь нельзя нам вести огонь в том направлении.

А тем временем комсомолец Борис Полыга действовал. Мне через перископ никак не удавалось обнаружить, где находится в данный момент Борис, где он ползет…

Комбат не одобрил поступка смельчака, потому что одному действовать в такой ситуации было неразумно, это вело к неизбежной и бесполезной гибели. Но Борис придумал, как действовать ему. Он понял, что к колпаку можно приблизиться только со стороны немецкого тыла: фашисты бдительно охраняют лишь нейтральную полосу. И вот наш Боря, мальчик с пальчик, далеко в обход фланга проскользнул в тыл немецких пехотинцев…

Наконец-то я увидел его в бинокль! Да, он полз к колпаку со стороны немецкого тыла!..

По приказу комбата наши стрелковые роты приготовились к атаке и, как только Борис, приподнявшись, стал кидать в колпак одну за другой свои «лимонки», понеслись через узенькую «нейтралку» на ту сторону… Немцы очнулись через какие-то секунды, но эти секунды сохранили Борису жизнь: стрелковые роты, рванувшие разом, с криком «ур-ррра-а!» успели отвлечь огонь на себя. Батальон вырвался вперед.

Борис, когда я подбежал к нему, виновато глядел счастливыми глазами, полными слез: он был уверен, что, уничтожив точку, сам погибнет мгновенно. Его оттерли от меня штабные работники во главе с Колей Корсуновым. А потом пронесся слух, что комполка Билаонов приказал смельчака представить к ордену Красного Знамени…

Какая сила вела на подвиг этого пацаненка? Шансов самому уцелеть после первого же броска гранаты у него не было, и он хорошо это осознавал…

Боря показал мне потом письмо, которое написал отцу-генералу. Я запомнил первые две строчки из того письма. «Здравствуй, папа! Я пишу с фронта. Сегодня я уничтожил пулеметную точку — дот гитлеровцев…» А дальше врезались в память еще восемь слов: «Теперь не стыдно, если мне скажут «генеральский сынок»…»

Через несколько дней комсомольца Полыгу Бориса ранило в голову осколком мины, и он был переправлен в тыл.

* * *

В Драгунск мы вошли ранним утром. Немцы ночью отступили. Улицы пустые, валяется всякий хлам и бумага… Ничего не предвещало беды. Мы радостно шли по улицам к центру поселка.

А вот и наши штурмовики. Сейчас догонят и разнесут в пух и прах отступивших фрицев… Наши «летающие танки» дали круг над горизонтом, как бы выбирая себе цель поважней, вернулись опять к нам и вдруг… стали пикировать! Что это они, с ума сошли?! Я вижу теперь у самолетов только крылья и прямо нацеленные на меня носы… Не веря своему предположению, что наши самолеты сейчас ударят по нам, я все же на всякий случай спрыгнул в нишу подвального окна ближайшего дома. И вслед за тем пошло взрываться на улице над моей головой… На меня посыпались земля, битое стекло, штукатурка, известковая горькая

пыль… Я думал, что дым и грохот не прекратятся уже никогда… А самолеты, израсходовав свои ракеты, принялись обстреливать нас из пулеметов и пушек…

Разнесли в пух и прах наш полк и ушли к себе на аэродром.

Кое-как через завал выкарабкался я из своего убежища и увидел картину полного разгрома. До меня доходят стоны раненых. Откуда-то появились, как с «того света», еще несколько живых пехотинцев, но я никого не могу узнать, хоть их голоса мне давно знакомы. Мы, еще не избавившись от страха, опасливо озираемся по сторонам, смотрим друг на друга. Один, почти мальчишка, новобранец во все горло орет: «Ма-а-а-ма! И-и-и где ты-ы-ы?!» Подошла ко мне знакомая медсестра с обалдевшими глазищами и не мигая уставилась на меня Шепчет: «Мансур? Неужто ты и в сам деле живой? Скажи хоть слово!» Я ей киваю головой утвердительно. Она вытащила из своей сумки широкий бинт и, отрывая от него куски по метру, стала раздавать нам, для того чтобы мы обтерли свои лица. Так постепенно мы привели себя в мало-мальский порядок.

Вся улица была похожа на траншею братской могилы, в которую только что была свалена масса трупов людей и лошадей вперемешку с автомашинами, пушками и другим военным имуществом. Меня мучает совесть от того, что я каким-то чудом или неестественным образом остался живым. Я не смогу даже теперь объяснить, как это у меня получилось?!

Из начальства первым появился возле нас наш командир полка майор Билаонов. Я, увидев его смертельно бледным, готов был провалиться на этом месте сквозь землю, будто бы только я виноват в этой трагической катастрофе. У Билаонова сейчас было такое крайне скверное настроение и опустошенное состояние, что я боялся за него, как бы он не вздумал сейчас пустить пулю себе в сердце… Он увидел меня и отвернулся. Вскоре у нас появились представители от более высокого начальства в генеральских погонах. Они, как инструкторы, молча придирчиво осматривают. Один из них строго, как мальчишку, спрашивает нашего майора: «А почему вы не выбросили для летчиков свои опознавательные полотнища?!» — «А вон они, на расщепленных тополях…» Там действительно развевались ленты от полотнищ, напоминая глубокий траур… Высокое начальство, не глядя друг другу в глаза, торопливо удалилось, чтобы доложить об увиденном своему командующему армией Жадову…

Пехоте нашего полка, видимо, было написано судьбой непрерывное испытание на ней всех видов нашего губительного оружия. Мы часто попадаем под артогонь своих «дальнобойщиков» и даже наших любимых «катюш»! Вспоминаю,

как однажды под Сталинградом наш батальон оказался под огнем «катюш». В результате от нашего батальона ничего и никого не осталось. Обвалом огня и грохота свалились с неба на наши головы собственные ракеты, за одну минуту вулканического извержения на участке нашего батальона дымились сплошные воронки. Моему другу и земляку Бородину Ивану, который только в прошлую ночь прибыл к нам с маршевой ротой, оторвало ногу по колено. Он плакал, как нагло обманутый ребенок, не от боли, а от горькой обиды, что он лишился ноги от своих «катюш»! Но вместе с тем он и не пытался скрывать от меня и свою какую-то дикую радость: «Я, Мансур, шытай, што ужи и отваевалси! Прошшай, земляк! А я, видать, и в сам деле родилси в рубашке! Мене дома завсегда говорили, шты я фартовый! Эх, добраться бы мене теперича домой! А тама я не прападу! Тайга прокормит и безногого». Слушая Ивана, я радовался потому, что остался и в этом аду невредимым и живым, но одновременно я — «тьфу-тьфу!» — завидовал ему… Я помог земляку добраться из «передка» до сан роты. А Иван меня жалеет за то, что я, как заколдованный, обречен на невыносимо тяжелую и опасную, голодную, вшивую окопную жизнь… Иван успокоил меня тем, что теперь с этого дня он будет молиться всем богам, чтобы они сохранили меня живым!..

И вслед за тем еще одно потрясение выпало на мою долю.

Наконец мы встретились, участники Сталинградской битвы, и, как братья, обнялись. Обстановка позволяла нам сделать передышку. Мы облюбовали место и на всякий случай решили вырыть хорошие окопы в полный профиль. Договорились, что, как только окопаемся, соберемся вместе и отметим встречу. А место нашего сабантуя облюбовали под огромным одиноким деревом и загодя сбросили под ним в одну кучу свои вещмешки со всем необходимым.

Неподалеку на одной линии с нами остановилась минометная рота соседнего батальона.

Одному из сталинградцев поручили подготовить общий ужин из наших скромных припасов. Отстегнули мы свои фляжки с «наркомовскими граммами» и принялись рыть окопы.

Уже все мои друзья — семь человек, — закончив с окопами, собрались поддеревом и, переговариваясь, ждут, когда я примкну к нашей компании. Я же торопился выкинуть последний штык глины, чтобы потом быть свободным от забот и тоже, как все, расслабиться.

Хлопцы, потеряв терпение, кричат:

— Мансур! Сколько можно тебя ждать?

Я уже бросил лопату и выскочил из окопа, как вдруг снаряд,

который — по звуку — летел с перелетом, заставил меня на секунду нырнуть обратно в окоп, на всякий случай…

Взорвалось отчего-то в воздухе — в той стороне, где ждали меня. «Вот гад, — подумал я. — Шрапнелью, что ли, начал кидаться? От шрапнели нет спасения…» Несколько осколков с визгом впились в противоположную стенку окопа.

Я вылез из своего укрытия и увидел: вершина дерева срезана, а под деревом раскиданы неподвижные тела моих однополчан.

Единственный и случайный снаряд убил семерых ветеранов нашего полка — сталинградцев.

…У наших батальонных минометчиков не хватало в боевых расчетах по две и даже по три «единицы», но обстоятельства требовали, чтобы все девять минометов вели беглый огонь по гитлеровцам, которые валом наваливались на нашу передовую. Я решил помочь одному минометному расчету, заменив отсутствующего наводчика. Но мне было предложено командиром расчета подносить от штабеля ящики с минами, которые находились в укрытии, а за наводчика место занял он сам. И только я поднес мины и вернулся обратно к штабелю, сзади меня произошел оглушительный взрыв. Я, подождав с минуту, тут же вернулся к миномету и увидел ствол, превращенный в «ромашку». Заряжающий Кожевников слишком поспешил и, не дождавшись выстрела, направил в ствол следующую мину. От взрыва двух мин разом был уничтожен миномет. Погиб он сам и командир Барташевич. Мы похоронили их в окопе, а изуродованный минометный ствол положили сверху, как летчикам кладут на могилы пропеллер от сгоревшего самолета…

С очередным пополнением личного состава в наш батальон прибыли пятеро девушек-санинструкторов, а вернее — медсестер. После десятилетки они окончили краткосрочные медицинские курсы и вот теперь оказались на передовой линии. Я, как комсорг стрелкового батальона, первым встретил девушек, чтобы поставить их на учет, и первым в батальоне узнал их имена и кто откуда. Галя — из Пензы, Тоня — из Рязани, Зина — из Тюмени, Оля — из Оренбурга, а Шура — из Новосибирска. Но у Шуры в комсомольском билете имя Матрена. Строго спрашиваю ее: «Почему?» — а она мне в ответ дерзит: «А по кочану!» Все присутствующие засмеялись, но мне неймется, и я опять обращаюсь к ней: «Землячка, я сам из Кемеровской области и прошу тебя — объясни!» Она упрямо продолжает дерзить: «А тебе не все ли равно? По документам я Матрена, а для всех хочу быть Шурой — это мой псевдоним. Ну, понял, землячок?» После нашего первого знакомства я, встречая Шуру, здоровался, но

тихо, на ухо называл ее Матреной, и она не возражала. Хотя Матрена и была маленького роста, но большую сумку с красным крестом она носила легко. Кроме того, скоро выяснилось, что она, как никто из ее подруг, обладала феноменальной способностью — она умела подползти к раненому днем на ровной «нейтралке» и спасти ему жизнь под самым носом у гитлеровцев. Мы могли помочь ей только тем, что прикрывали ее пулеметным и минометным огнем. Перед тем как выползти из своего укрытия, она тщательно изучала местность, выбирая более безопасный и извилистый маршрут, используя самые незначительные ложбинки «нейтралки». Потом она, привязав к ноге медицинскую сумку, ни разу не поднимая головы для ориентировки, незаметно для врага добиралась ползком до своей цели. Она ползла вслепую! Как можно запомнить стометровый извилистый маршрут? Даже видавшие виды на войне солдаты не могли этого понять. Да и сама Матрена не могла обьяснить: «Как? Уму непостижимо! Я и в глухой тайге никогда не блуждала», — объясняла она нам. Иногда мы уговаривали ее: «Не лезь! Местность совершенно открытая! Фрицы могут увидеть и подстрелить!» — но она всегда упрямо возражала: «Не могу оставить раненого до ночи!» Однажды, когда мы после непродолжительного сражения отбросили фрицев и, как говорится, поперли их дальше на запад, бежавшую рядом со мной Матрену ранило немецкой пулей. Она упала, зажимая обеими руками рану в самом низу живота. Из-под нее по земле бежала ручьем кровь. Я догадался, куда она ранена, и несмело предложил: «Давай я сделаю тебе перевязку». Она, превозмогая боль, наотрез отказалась от моей услуги, хотя и понимала, что я с ее помощью смог бы перевязать рану и приостановить кровотечение. «Ты лучше беги и найди кого-нибудь из девчат», — попросила она. Я понял, что она меня стесняется, и побежал вперед на поиски кого-нибудь из ее подруг, но никого из них не нашел. Увидев наших связистов, тянувших телефонную линию, я подбежал к ним и объяснил, что случилось. Они сразу же связались со штабом нашего полка. На связь вышел замполит капитан Егоров, и я доложил обо всем случившемся. Он заверил меня, что сейчас же командир санроты Святненко прибудет на место, окажет раненой медсестре помощь и увезет ее в санбат. Успокоившись, я присоединился к нашему наступающему батальону.

Когда бой затих, я позвонил в штаб полка и узнал, что Матрену вывезли с поля боя, чувствует она себя удовлетворительно и просила передать мне большой привет. В 1980 году я гостил в Ташкенте у моих фронтовых товарищей и поинтересовался, с кем из однополчан они поддерживают связь. Я

узнал, что они переписываются с Матреной, которая живет в Новосибирске, у нее муж, трое взрослых детей и два внука. Естественно, я взял ее адрес и тут же написал ей письмо. Ответа не пришлось долго ждать. В нем она сообщила мне, что перевязку ей сделал все-таки мужчина — командир санроты Володя Святненко.

* * *

…Приняли в ряды Коммунистической партии большевиков нашего минометчика Алексея Ивановича Янсона. Я оформлял документы о его приеме и узнал о нем следующее: Янсон Алексей Иванович, 1906 года рождения. Сын кулака. В 1932 году окончил Лесотехническую академию в Ленинграде. Кандидат наук. Добровольно, «из-под брони», ушел на фронт с должности заведующего кафедрой Красноярского лесотехнического института. Женат. Двое детей.

Как парторг, я должен был посоветоваться с нашим полковым комиссаром гвардии капитаном Егоровым относительно строчки «Сын кулака». Владимир Георгиевич говорит: «Это не имеет никакого значения».

Янсон Алексей Иванович был единогласно принят в ряды ВКП(б). Я по своей молодости и наивности решил, что если человек закончил академию, значит, он академик. И все в нашей роте стали звать Янсона Академик.

И скоро наш Академик доказал, что за ним не зря закрепили это прозвище.

Как-то немцы предприняли против нас нежданную танковую атаку. На батальон вышло два десятка танков в сопровождении пехоты. Наши стрелковые роты и пулеметчики заставили пехоту залечь, но танки продолжали идти на нас. Как назло, в этот момент наших противотанковых артиллеристов не оказалось в батальоне. Они еще не подъехали со своими орудиями на новые огневые позиции.

Янсон предложил открыть по надвигающимся танкам огонь из минометов… Несерьезно, правда? Что для танков осколочные мины? Ничего. Но выхода не было.

Открыли мы беглый огонь по танкам… Странное дело, но танки поломали свой атакующий строй, а потом попятились назад! Взрывы мин сбили с толку танкистов. Несколько мин упало прямо на танки. А наш Академик учитывал, что прежде всего мины подействуют психологически! У фашистских танкистов нервы не выдержали, они ушли обратно, а мы

выиграли время.

Сейчас немцы догадаются об обмане!.. Но тут прибыли наши артиллеристы и установили свои пушки на прямую наводку… Ждать долго не пришлось. Так оно и есть! Эти же самые танки опять прут на наш батальон на большой скорости. Мы снова открыли минометный огонь, чтоб противник убедился: нет у русских на данном участке противотанковых средств!.. Фашисты лезут на рожон, уверенные в своем успехе и безнаказанности. А мины — пустяк!

Но вдруг вспыхивает один танк, за ним — второй, третий… В общем результате только пять-шесть танков спаслись бегством, а полтора десятка благодаря находчивости нашего Академика сгорели дотла.

Под нашим натиском немцы отступают. Но отступают организованно, нанося нам чувствительные удары из засад. В засадах в основном применялись танки, устанавливаемые в капонирах. Торчит одна башня над землей и бьет из пушки и из пулеметов! Попробуй возьми такой дот!

На рассвете через «нейтралку» вернулись наши полковые разведчики и рассказали нашему комбату Картошенко о том, что впереди нас на расстоянии более двух километров немцев нет. Об этом они доложили и в штаб полка. Вскоре наш батальон и весь полк начали выдвигаться вперед. Сильно пересеченная местность вынудила нас двигаться маршевыми колоннами. Когда день заканчивался и начало темнеть, неожиданно со всех сторон и даже с нашего тыла на нас обрушился кинжальный огонь хорошо замаскированных танков. Мы залегли и, как кроты, начали, кто пока живые, окапываться. Нашим спасением теперь был только свой окоп! Но обстрел был таким мощным, что многие пехотинцы, не успев надежно углубиться в матушку-землю, погибли. А тот, кто успел зарыться, не имел возможности высунуться, чтобы хоть оглядеться вокруг. Высунь палец — и останешься без него! В таком дурацком положении оказался и я. Жуть берет от навязчивой тревоги: «А вдруг уже ты тут один остался?!» А немцы точно рассчитали свои действия и заманили нас в свою хитро устроенную «мышеловку». Только в полночь прекратили свой обстрел. Но кто был жив, теперь боялся высовываться, не доверяясь этой тишине… А немцы уже давно снялись, и теперь они где-нибудь впереди успели приготовить для нас такую же «мышеловку». А мы, как всегда бесшабашные, премся и премся вперед, так как в нашем тылу хорошо работает «конвейер» с маршевыми ротами. Через каждые три-четыре дня мы пополняемся «живой силой»…

Такие, как я, фронтовые пехотинцы-«долгожители» никогда

не возмущались нашими неудачами и неоправданными потерями, считая, что в этом никто не виноват. И я смирился с таким положением. «На то она и есть война!»

Мы, попадая в подобную западню, порой зарывались в землю и выжидали до тех пор, пока в танке у немцев не иссякнут боеприпасы. Или не отойдут их главные силы на определенное расстояние. Засада обычно держалась до тех пор, пока гитлеровские факельщики не подожгут все, что может гореть… Ясное дело, каждый раз лежать, зарывшись в землю, и выжидать, когда враг снимет засаду, мы не собирались. Знали по опыту: стоит только нашим автоматчикам просочиться в тыл засады и открыть там хотя бы беспорядочный огонь, как фрицы, боясь окружения, отступают. Ну а раз знали такую их слабость, значит, пользовались ею. И довольно успешно.

Но однажды наш батальон все-таки был остановлен сильным огнем противника. Фашисты на этот раз устроили не простую засаду, а сильную оборонительную долговременную линию. А мы, не предполагая этого, решили спугнуть фрицев своей выработанной тактикой.

Ушли ночью наши автоматчики и вернулись с потерями. Утром подошли «тридцатьчетверки» и атаковали немцев — тоже безуспешно. Потеряли половину машин… Топчемся уже трое или четверо суток — и ни с места!

На КП нашего полка прибыл сам генерал Родимцев, разгневанный, что стоим как столбы… КП полка переместился на КП нашего батальона…

Иногда мне думается, что мы могли не выиграть эту тяжелейшую войну, если бы воевали только «по правилам». Иная кажущаяся неразумность помогала солдатам совершать чудеса, которых бы никогда не совершить одними разумными мерами.

Вот и теперь: по нашим окопам и траншеям пронесся из уст в уста невероятный слух. «Неужели это в самом деле?! — помню, мелькнуло в голове. — Это же невозможно! Не то что голову, палец не высунешь наверх — оторвет пулей или осколком!» Но все же, выбрав момент, высовываюсь из своего окопа и… не верю своим глазам! Да, весь наш полковой штаб во главе с Билаоновым, Егоровым и Тукхру как на демонстрации — идут, не обращая внимания на автоматный и минометный огонь!.. Рядом с Билаоновым, который старательно отмеривает на высоких костылях и у которого все еще забинтована голова, еле успевает его адъютант Коля Корсунов. Рядом с Егоровым — старшина Носов…

Заколдованы, что ли, они все?!

Но мне стыдно теперь, что я прячусь в окопе и не могу себя

заставить выскочить для атаки. И это первое и главное чувство, от которого я уже не могу отделаться…

Наш комбат Долинный Николай тоже не смог больше сидеть в укрытии и, подав сигнал ракетами «к атаке!», выскочил из своего КП, сел в «Виллис» и рванулся вперед…

Весь батальон тут же поднялся и с криком «Уррра! За Родину!» пошел за ним…

Роты продвигались вслед за своим комбатом, который на «Виллисе» уже приблизился к переднему краю немцев… Машина взорвалась у всех на глазах. Мы потом нашли орден Красной Звезды, которым был недавно награжден наш комбат.

Атака захлебнулась. Однако ночью солдаты нашего батальона во главе с гвардии старшим лейтенантом монголом Юндендоржем (и он через несколько дней погибнет в очередной атаке) проникли к «тигру» и закидали его бутылками с горючим. В образовавшуюся брешь просочилась рота автоматчиков и уничтожила еще один «тигр». Фашисты в панике стали бросать свои позиции…

Личный пример командиров помогал солдатам преодолевать стремление уцелеть во что бы то ни стало. Кажется, ученые это естественное стремление называют инстинктом самосохранения. В принципе неплохой инстинкт: надо побеждать и оставаться живым. Но, если дать ему волю, он тебе не позволит и высунуться из окопа.

Комсомольцы, вперед!

Наш полк пересек границу между Белгородской областью и Украиной, и комиссар полка Егоров Владимир Георгиевич объявил, что мы переключаемся на освобождение оккупированной немцами Украины.

Вместо погибшего Николая Долинного в наш батальон прислали комбатом гвардии капитана Картошенко Николая Михайловича, а меня назначили комсоргом батальона. Я сдал дела парторга роты минометчику Янсону Алексею Ивановичу.

В комсорги батальона меня рекомендовал комиссар полка гвардии капитан Егоров Владимир Георгиевич. Он ясно меня предупредил, что жизнь комсоргов батальона в среднем длится от одной атаки до двух-трех. Комсорг должен первым подниматься в атаку…

— Сможешь, Мансур, иди комсоргом. Не сможешь — не осуждаю.

Обожгли меня слова комиссара, и я почти растерялся, не зная, что мне делать. «Быть или не быть?» Комиссар пытливо и терпеливо наблюдает за мной… Ведь не мне первому он говорил эти слова, и люди шли: в батальоне всегда был комсорг… «Как быть? Не долго ли я думаю?» Не хочу комиссару показаться трусом… ему одному, ведь никто не узнает, если я откажусь, но… Двум смертям не бывать, одной не миновать! Щупаю свой талисман — тут он.

— Согласен! — говорю.

Комиссар благодарно посмотрел на меня — за то, что он не ошибся…

Среднесписочное число комсомольцев в батальоне колебалось от боя к бою от двухсот восьмидесяти до двухсот сорока. Текучесть большая. Работы у меня было очень много, и не хватало суток. Бои шли жестокие, с большими потерями. Каждую ночь в наш батальон прибывало свежее пополнение. Каждого комсомольца надо было взять на учет. Ну а комсомольское поручение каждому было одинаковое: успеть сделать на войне как можно больше, учитывая, что жизнь у него тут может оборваться в каждое мгновение. Успеть убить фашиста как минимум! Если повезет, убить двух фашистов: за себя и за друга, который не успел убить ни одного гада!

Свою философию «убить хоть одного фашиста!» я, как комсорг батальона, распространял среди всех комсомольцев.

Эту солдатскую философию воспринимали все до единого, и никто не думал по-другому. А как же Победу добывать? Иначе не

добудем…

Я человек по своей натуре мягкий и впечатлительный. Ни хулиганом не был, ни драчуном, а вот на войне я уничтожал и хотел уничтожать фашистов…

«Успевай убивать, пока сам не погиб от того, кого надо убивать!» — это я внушал новичкам, прибывающим на фронт. Я был постоянно настроен на то, чтобы пока я жив, стараться авансом отомстить за свою жизнь немцам! Я с каждым разом поднимал цену за свою жизнь все выше! Я никогда не надеялся, что останусь живым в этой мясорубке, и торопился при любой возможности воспользоваться любым случаем! Однажды в каком-то овощехранилище по моей инициативе мы расстреляли не менее двухсот раненых фрицев…

С сожалением следует отметить, что преобладающая часть нашей пехоты — это пассивные солдаты, которые, не попытавшись уничтожить ни одного солдата противника и даже не увидев его живым или мертвым, погибали сами или выбывали из строя по ранению.

Как было больно до слез, до полного отчаяния, когда я видел своими глазами погибшего нашего солдата, только что прибывшего маршевыми ротами. Это мое состояние всегда выплескивалось, вырывалось наружу. Товарищи по оружию чувствовали его как свое собственное и ценили мою искренность.

Были и исключения. Хочется рассказать о пулеметчике, комсомольце Кобылине Николае. 1925 года рождения, он был на два года младше меня. Прибыл на фронт добровольно. Два его старших брата погибли в боях с фашистами.

Коля хотел быть непременно пулеметчиком. «Максим» — пулемет хороший, но тяжелый — шестьдесят пять килограммов. В обороне лучше «максима» нет пулемета. Но в наступательном бою с ним бегать нелегко. Гибнут, как правило, наши пулеметчики при смене огневых позиций: именно тут фрицы их и ловят на мушку. Коля придумал нехитрое приспособление: при перебежке с позиции на позицию он оставлял «максим» на прежнем месте, а сам, как заяц, пулей на новую позицию. Потом своего «максима» тянет к себе за крепкую и тонкую многожильную проволоку. Стрелки из роты тоже помогают тянуть. И вот «максим», как самоходный, торопится следом за хозяином…

Кобылин Коля стрелял не только днем, но и ночью. Высматривал он еще днем сектор обстрела. Устанавливал загодя «максим» и забивал колышки с обеих сторон ствола — «ограничители сектора». На колышки палку буквой П. Это тоже ограничитель, чтоб ствол не сбивался вверх…

Ночью, когда в секторе огня появлялись фашисты, он

открывал огонь… Эмоций или символики здесь было мало. Кобылин Коля мстил за братьев по-деловому и отправил за них на тот свет не одну сотню гитлеровцев.

Еще хорошо помню комсомольца, пулеметчика тоже, Василия Шамрая. Шахтер с Донбасса, тоже двадцать пятого года рождения. Как и я, на фронт прибыл «из-под брони». Иногда фашистскую контратаку наш батальон отбивал только благодаря личной храбрости этих двух комсомольцев-пулеметчиков.

Оба они живы. Кобылин Николай Николаевич живет в Ижевске, а Шамрай Василий Кузьмич — в Кременчугском районе Полтавской области. В живых остался и комсомолец Ким Добкин — наш поэт. Очень везучим разведчиком он был. Сейчас живет в Ростове-на-Дону. Андрей Богданов живет на Сахалине.

Прием в комсомол был поголовный, и зачастую не успевали выдать новому члену ВЛКСМ комсомольский билет… Бои были тяжелые, весь состав комсомольской организации батальона за месяц обновлялся почти полностью…

Комсоргу никогда не приходилось собирать комсомольцев на собрание и писать протоколы, выступать с докладом и выслушивать прения. В ходе боевых операций комсомольская организация батальона находилась в состоянии непрекращающегося «собрания».

Комсомольская жизнь била ключом днем и ночью без перерывов и без протоколов:

— Комсорг, патронов осталось мало!

— Комсорг, снаряды на исходе!

— Комсорг, а где гранаты?!

— Комсорг, почему почты давно не было?

— Комсорг, курить нечего!

— Комсорг, почему ночью не пришла к нам кухня?!

Я еще выполнял обязанности переводчика с татарского, казахского, узбекского, башкирского, киргизского языков на русский.

Как радовалась «Средняя Азия» моему появлению среди них!

«Бизнин уртак!» — кричали узбеки.

«Бизнин джолдас!» — кричали мне казахи.

«Узебезнен кеше!» — кричали мне татары и башкиры.

«Джаксы адам!»… «Келинг!»…

Вот тут все однополчане завидовали мне, что я, татарин, владею столькими языками.

До сих пор держится в моей памяти то ощущение, которое овладевало мной в атаке. Я обязан подняться для атаки первым, и весь батальон ждет этого момента. Если комсорг или парторг

поднялись, ждать и выжидать тут уже никому не дано права — надо вставать всем…

Я, превозмогая свой страх и свою слабость, встаю. Надрываясь, кричу:

— Вперед! За Родину! За Сталина!

Реву-ору, страшно напрягаясь, чтоб услышали меня все, чтоб немедленно все разом поднялись за мной. Поднялись, чтоб взять безымянную высотку, выбить немцев из хаты, где на подоконнике установлен пулемет. Отбить у врага улицу. Поднялись, чтобы этим самым спасти тебя же от верной гибели, потому что, пока ты один в полный рост маячишь на рубеже нашей атаки, ты являешься единственной мишенью для гитлеровцев…

И хочется оглянуться назад — поднялись или нет солдаты, — но я не позволяю себе это сделать, потому что покажу — обнаружу свой страх и недоверие к моим комсомольцам. Бегу вперед, перенапрягая себя, силком толкая, как перегруженную вагонетку на подъеме…

И когда уже в моей душе все резервы исчерпаны, когда я себя уже почти считаю обреченным на верную гибель, слышу сзади раскатистое «урррра-а!», и сладкий моему слуху топот пехоты, и тяжелое жаркое дыхание бегущих за мной…

В этот миг страх мой улетучивается из меня с последними парами, и я в изнеможении падаю на землю, как убитый… Но успеваю услышать истошный вопль: «Комсорга убило!», вскакиваю — и опрометью вперед, чтоб никто из наших хлопцев не засомневался в своем комсорге… После боя потом я часто слышал в свой адрес: «А наш комсорг в рубашке родился…», «Чудом уцелел…». Такая похвала — высокая награда.

Самое же гиблое дело, если солдаты тебе дадут такую характеристику: «А комсорг наш жидковатый… Трус…» Ясное дело, что авторитет приходилось зарабатывать снова и снова, каждый новый наступающий день боев. И причем зарабатывать его у самых отчаянных хлопцев, которые не знают страха.

Как-то я попал в щекотливую ситуацию. Иду мимо группы наших ребят, которые расположились в траншее и, никому не мешая, трапезничали. Шнапс у них, трофейная колбаса…

— А, Мансур! Присаживайся, комсорг!

Наливают сто граммов шнапса, колбасу подвигают на закуску… Отказаться бы, плюнуть и сказать: не наливайте мне этой немецкой вонищи, да все хлопцы старше меня, герои — по два и три ордена имеют, а у меня одна медаль «За отвагу»… Выпили. Сидим. О том о сем беседуем. Вдруг:

— Комсорг, а не против, если еще по сто?

— Можно, — говорю.

А шнапса-то никакого у них и нет больше! Начинают театрально-вопросительно глядеть друг на друга и рыться в вещмешках: мол, была же еще бутылка… Мне бы смолчать, а я выскочил с вопросом:

— Где брали-то?

— Во-он, — показывают. — Там еще есть. Но, правда, там фрицы обстреливают сильно, уже двое наших не вернулись.

Сижу и соображаю: «Попался я на крючок. Меня угостили, и я угостить должен. Не пойду — пустят слух, что струсил».

— Да не надо, комсорг, — уговаривают.

Но по интонации понимаю: «Надо». Хлопцы относились к категории лидеров среди храбрых солдат. Тут не бутылка шнапса на кону…

От бронетранспортера со шнапсом, застрявшего на нейтральной полосе, меня отделяет полянка в сто метров.

Я снял полевую сумку, плащ-палатку и — эх, была не была! — легко и лихо выбросившись из траншеи, как заяц, петляя и прыгая, безостановочно несусь к бронетранспортеру. Когда немцы застрочили из пулемета, я уже успел вбежать в мертвую зону.

Взял из коробки в бронетранспортере две бутылки, отдышался и прикидываю глазом. Обратную стометровку надо бежать иначе. Немцы теперь ждут меня. А где они меня ждут? Где наши двое легли? Во-о-он они, почти у самой траншеи. Значит, и меня в том месте сшибут. Соображай, Мансур!.. Сообразил. «Ну, пора!» — командую себе и рванулся по прямой к тем двум трупам наших солдат— они сейчас мой конечный финиш!.. Достигаю роковой зоны — пули уже впиваются впереди меня в землю — и падаю в ногах у трупов, как сраженный. Обмяк. Расслабился, даже веками не шевелю, веки остались полуоткрытые, как упал, так и лежу.

Рядом с моим носом по ботинку убитого нашего солдата ползет букашка. Ползет себе по своим делам букашка и не понимает, что здесь война и что, может быть, еще один человек, на которого она смотрит и не видит, сейчас перестанет жить…

Ну, поверил уже фриц, что я мертвый? Убрал палец с гашетки? Отвернулся?.. Как стальная пружина, взвиваюсь и в три прыжка — живой и невредимый — сваливаюсь в нашу траншею. Пулемет застрочил, да поздно…

Где же моя компания? Нету! Одна колбаса трофейная валяется… Оказалось потом, хлопцев я тоже убедил, что лежу там мертвый, на «нейтралке». Все же заела совесть, что по их вине зазря погиб молоденький комсорг, не до угощения стало!

Отряхнувшись и подхватив полевую сумку, я побежал по

траншее догонять своих собутыльников, чтобы рассчитаться — вернуть должок. Вот и они: «Ты че?! Комсорг, воскрес ли чели?! Ну, ты даешь! Ты наверна всамделишный артист — шмякнулся так, что и мы подумали: «Готов!»

На другой день хлопцы смеялись надо мной, что я петлял и прыгал к бронетранспортеру как заяц (над живым можно посмеяться), но и хвалили за хитрость, к которой я прибег на обратном пути. Молниеносно разнесли по батальону, что «комсорг наш не трусливый». Ну и со всеми вытекающими…

Вообще же к шнапсу, как и ко всякому другому алкоголю, я равнодушен. Это еще с детства. Пацанами мы часто забегали на шахтный двор, где было «кладбище пьяниц». Могилы с настоящими крестами, пустыми бутылками… Колышек с доской, на которой фамилия пьяницы. Сюда приходили старые и малые, чтобы посмотреть на спектакль «живгазеты», изображающий в лицах похороны пьяницы-шахтера.

А спектакли были и в самом деле интересными. Играет духовой оркестр похоронную, несут гроб «с телом покойного», крест.

В яму опускают гроб. Говорят смешные речи… Засыпают яму землей… Пьянице нигде потом проходу не будет… А в результате шахтер уже не пьет, и его «могилу» теперь уберут…

Наверно, я очень восприимчивый к пропаганде человек. Та «живгазета» меня уберегла от распространенной пагубы. Но самую впечатляющую и доказательную «живгазету» довелось мне увидеть и пережить на фронте, когда мы взяли местечко Червоный Прапор со спиртоводочным заводом…

Опасаясь немецких хитроумных «мышеловок», наша пешая и конная разведка, как никогда раньше, обследовала всю местность на подступах к этому поселку и не обнаружила немцев. По невидимому солдатскому «телеграфу» по всем батальонам полка распространился слух о том, что в поселке до последнего времени исправно работал спиртзавод, а это означает, что спирту там хоть залейся! Еще до атаки солдаты перемигивались и пересмеивались, шутили: мол, непременно завод этот отобьем, только, чур, без артподготовки… Зачем лишний гром-погром…

Наше командование и политотдел строго предупредили всех комбатов, парторгов и комсоргов, ротных и взводных о том, что они все в первую очередь несут персональную ответственность, если кто-нибудь из солдат окажется в нетрезвом состоянии. Кроме этого, нас предупредили о том, что все спиртные напитки могут быть отравленными. Комбаты получили точный маршрут продвижения по рабочему поселку — по основной крайней от территории завода улице на расстоянии почти два километра. А

обойти поселок стороной было опасно, так как были заминированы все окраины. И так, под строгим контролем ответственных за установленный порядок на марше через поселок, мы прошли без всяких помех и дисциплинированно! Спиртзавод остался далеко позади. Мы продолжаем движение вперед вслед нашим передовым и боковым дозорным. На расстоянии не более двух километров от поселка немцы обстреляли нашу головную колонну из шестиствольных минометов. Мы, развернувшись в цепь, залегли и начали окапываться. Немцы продолжают нас обстреливать уже из всех видов своего вооружения. Наступила ночь. Немцы непрерывно освещают «нейтралку» ракетами. А ближе к рассвету замолчали. Тут надо бы нам попытаться пойти вперед, но из наших рот стали поступать неутешительные новости. Солдаты в стельку пьяные, а многие даже мертвые! Из штаба полка приказали: «Поднять батальон и атаковать малочисленные силы гитлеровцев!» Но поднялась только одна четвертая часть пехотинцев. В этот момент в нашем батальоне появилась штабная автомашина «Виллис» с командиром полка. Он в ярости. Комполка орет на нашего комбата: «Ну!…! Что тут у вас?! Где батальон?! Нажрались и подохли?!…! Отвечай!» Возле своего комбата стоим рядом я и наш парторг. А за нашими спинами бесцеремонно подходят наши поддатые автоматчики. «Расстреляю такого комбата вместе с парторгом и комсоргом!» Он достает из своей кобуры пистолет и направляет в мою сторону. Мне показалось, что черная дырка пистолета не меньше, чем у 45-миллиметровой пушки, и она смотрит в мою переносицу. Все! Конец! Ну и пусть! Я все равно уже устал и обессилел от этой войны! От вшей! От окопной и голодной тяжкой без сна жизни! Я в боях с октября 1942-го! Я наблюдаю за холеной пятерней майора и вижу, как его указательный палец дрожит на курке! Вот сейчас от малейшего нажатия на чувствительный курок и… Интересно бы мне теперь знать, что напишут наши штабные писари на моей «похоронке»?.. Прочтет мать и узнает, что «ваш сын расстрелян как преступник».

Но выстрела не произошло. Комполка, заметив, что находящиеся рядом пехотинцы передернули затворы автоматов, решил прекратить этот спектакль и уехал туда, откуда приехал. Оказывается, в прошлую ночь наши пехотинцы незаметно и поочередно бегали два километра до спиртзавода, в темноте набирали в свои котелки и фляжки то, что пахло спиртом… Комбат Картошенко в растерянности не знал, что теперь делать. На всякий случай мы залегли, надеясь, что за день солдаты протрезвеют…

Немцы, отлично зная нашу слишком широкую натуру и

неистребимую слабость к спиртному, рассчитали свои действия предельно точно. И вот перед нами вынырнули из-за горизонта танки и бронетранспортеры с огнеметными установками. Они идут двумя рядами в шахматном порядке.

Приблизившись к нашим в стельку пьяным солдатам на малом ходу, по-хозяйски начали их поливать огненными струями, в одно мгновение весь наш передний край с нашими пехотинцами оказался в сплошном жарком всепожирающем костре. Наши солдаты мечутся в этом костре живыми факелами и как мотыльки сгорают…

Даже трезвым было не просто выскочить из этого пекла! Немецкие танки, выключив свои огнеметы, по нетронутому «коридору» вывели свои танки и скрылись опять за горизонтом. А наша «передовая» всю ночь горела до тех пор, пока горючая смесь вся не выгорела…

Это тяжело вспоминать. Трезвому, да на устойчивых ногах, можно и сориентироваться и сманеврировать. Многие замечательные, геройски воевавшие люди погибли в липучем огне огнеметов… Унизительней всего было то обстоятельство, что фашисты, очевидно, и не сомневались в успехе задуманного, когда отступали из Червоного Прапора.

* * *

Ждем свежие силы из пополнения, так как наш личный состав очень реденький: в ротах не более как по пятнадцать-двадцать человек. А немецкие артиллеристы постоянно беспокоят своим огнем. Гады, бьют так, будто видят нас!

Оказалось, что направляет их огонь немецкий самолет-корректировщик «горбач».

Это мы его так назвали за то, что он и в самом деле «горбатый». Самолет одномоторный, сильно бронированный и очень тихоходный. Зависнет над нашими позициями и наблюдает «перелет» или «недолет» снарядов.

В минометной роте имелось противотанковое ружье ПТР, и, как только «горбач» зависал над нами, я открывал по нему огонь из ПТР. Мне шибко хотелось сбить этот самолет и зафиксировать его уничтожение на свой боевой счет. Кроме ордена, за сбитый самолет солдату давали отпуск домой. Признаюсь как на духу, что к этому времени я сильно устал от войны. Устал и физически и душевно. «По собственному желанию» с войны не уволишься, это я понимал. Но вот бы отпуск получить дней на десять-двадцать, чтобы выспаться в тишине, попить бы из крынки

парного молока, порыбачить бы…

Я стрелял по «горбачу», оглохнув сам и доведя до исступления всю роту. Всем было тошно от моей стрельбы. Но тошней всех мне: ПТР отдает сильно в плечо. Выстрел отбрасывал назад на полметра. Голова чуть не лопалась от сотрясения. Но с каждым промахом я с еще большей злостью стрелял и стрелял. Раз десять самолет внезапно «нырял» и уходил вроде бы без признаков повреждения… Снова возвращался… А через неделю, когда, получив пополнение, мы выбили фашистов из их траншей и пошли в наступление в глубь их обороны, мы увидели мой «горбач», весь изрешеченный патронами ПТР и обгоревший. Я в него попал своим ПТР сотню раз! Я был очень доволен, что я его, оказывается, фактически уничтожил. Но попробуй докажи, что этот сбитый «горбач» мой!

— Мансур, ведь ты его сбил! — восторженно поздравляли одни.

— А может, кто-нибудь еще стрелял? — сомневались другие.

Как меня критиковали за «мартышкин труд» минометчики! «Оглушил ты нас своим пэтээром! Хоть бы перетащился куда-нибудь с ним подальше!..» А теперь эти же минометчики удивлялись, разглядывая самолет, изрешеченный пэтээровскими бронебойными патронами.

В полку, а потом в дивизии нашим бронебойщикам было предложено активно стрелять по гитлеровским самолетам из ПТР. Иногда удавалось сбить. Не знали только, кого награждать и кому предоставлять отпуск домой согласно условиям поощрения. Но бронебойщики теперь всегда вели из своих ПТР огонь по самолетам, хотя это занятие было не из легких: главное было в коллективном уничтожении вражеских самолетов и приближении Дня Победы, когда все получим «отпуск»…

За сбитый «горбач» и я не получил персонального поощрения, так как трудно было доказать, что это именно я сбил его, а не кто-нибудь другой. А я и не собирался доказывать… Наш комиссар полка Егоров Владимир Георгиевич говорил нам так: «Для вас, комсоргов и парторгов батальонов, наградой является тот факт, что вы — комсорги и парторги! Будьте скромными и не думайте о наградах своих. Но не забывайте представлять к награде рядовых за их героические дела!..» И у самого Владимира Георгиевича негусто с наградами. Правда, еще на Курской дуге он, увидев как-то меня, удивился: «Это что же, у тебя одна медаль «За отвагу»? Не может этого быть!» Я смутился и отошел подальше, а он, что-то рассказывая обо мне своим спутникам, качал головой, и те посматривали в мою сторону… Через какое-то время — мы уже начали освобождать Украину — из штаба полка

в наш батальон сообщили, что комсорг Абдулин М. Г. представлен к ордену Красной Звезды. Меня опять поздравляли, в который раз!.. Орден я получил после войны, в 1948 году…

Мы вдвоем с парторгом батальона — их четыре сменилось за мою бытность комсоргом — круглыми сутками старались находиться в ротах и взводах. На КП — на глаза нашему комбату Картошенко Николаю Михайловичу — являлись раз в сутки для обсуждения текущих дел. Комбат на КП всегда был один. Его все помощники, штабисты, тоже в ротах, при обязательном строгом условии: «Дать знать по связи свое местонахождение на сейчас!»

Уснуть удавалось моментами, пищу принимали где придется и какую придется. То и дело в ротах выходили из строя ротные комсорги — их надо быстро заменять новыми. Если же выбывал из строя командир роты, то я временно был обязан замещать его до назначения и прихода нового.

Ночью мы с парторгом должны были обязательно посетить боевые охранения, которые всегда выдвигались на нейтральную полосу перед передовой нашей линией. Парторга батальона лейтенанта Васильева Петра Васильевича я сопровождал еще и потому, что он близорукий. У него старший сын Василий, мой ровесник, тоже был на фронте. Последнее время от сына не было писем, и Петр Васильевич очень боялся, не убит ли уже сын.

Ползем по нейтральной, а фашистские ракеты падают рядом, брызгая ослепительной «электросваркой», делая по земле зигзаги, шипя змеями, норовя заползти тебе под живот… Шевельнись только — и будешь пришит пулеметной очередью. При этом, ползая на проверку боевых охранений, я всегда помнил, как однажды уснул в степи под Сталинградом и мы с Суворовым, не сходя с места, побывали в фашистском тылу…

Однажды мы в одной из стрелковых рот, пользуясь затишьем, надолго задержались с Петром Васильевичем. Солдаты, как выпадет затишье, любят поговорить на разные темы, но не о войне. О том, например, есть ли бог. Или как вот тут, в этой стрелковой роте, разговорились о происхождении человека на земле. Всерьез такая беседа интересовала пожилых солдат. А молодые с высоты своего семилетнего или среднего образования слушали снисходительно и посмеивались над наивными вопросами старших, которым не пришлось учиться в школе.

Один пожилой солдат, кажется его фамилия-имя были Кудрявцев Афанасий, обратился к парторгу с вопросом:

— А почему ж ето облизьяны все в людей не превзошли? Ай? Если в люди вышли от облизьян, то етих чертей страмных ни единого не осталось бы?! Почему же етих облизьян еще много в теплых странах и табунами живут?

Солдат смотрит хитро на парторга и ждет вразумительного ответа. Все ждут ответа на «хитрый» вопрос — ответа парторга батальона.

Я знаю, Петр Васильевич и с сегодняшней почтой не получил от сына никакой вести. Лицо у него осунувшееся. Но он всерьез — я вижу это — задумывается над вопросом пожилого Афанасия. И все знают: парторг сразу не станет отвечать, лишь бы ответить, а даст человеку поговорить, отвести душу.

Афанасий, поглядывая на парторга, продолжает дальше развивать свою мысль:

— Неужто наши ушоные-кадемики тожеть от облизьян?! Оне такие страмные и бессовестные. Вошей ишшут и едят! Ну, неужто у мене в жилах облизьянная кровь текет?..

Ну все, конечно, рады погоготать.

— Шшо вы как жеребцы? Я вить за вас пекусь! Мне вас жалко за то, что вас, молодых и умных, приписали наши ушоные и кадемики к облизьянам!.. А вы поверили-и-и!.. Йех, и дураки же все мы! Сами на себя такую страмоту приписали! Тьфу!.. Я не согласен с етим! Еслив не война, я собирался поехать в Москву и там скандал завести с кадемиками… Я бы им доказал! Хошь убейте меня! Пусть йен сам про себя и говорит, что он от облизьянов, а за других нормальных мужиков не пекется!

Афанасий, довольный, что парторг дал ему выговориться, и с волнением ожидая теперь, что парторг скажет, стал закручивать «козью ножку».

К удивлению молодых, Петр Васильевич ответил на «хитрый» вопрос не так, как в школе учили:

— Обезьяны были сами по себе миллионы лет назад такие же, как сейчас. И будут такие же еще через миллионы лет. А люди были миллионы лет назад тоже сами по себе — это и ученые так говорят. Только люди миллионы лет назад жили в лесах, в пещерах, ели сырую пищу. Потом научились варить пищу, топоры делать каменные. Через пятьдесят или через сто лет люди на Луну будут летать и на другие планеты. А обезьяны так и останутся такие же, как миллионы лет назад.

Афанасий прямо расцвел.

— А шшо я говорю?! — завопил он, готовый, кажется, обнять парторга. — Товарищ парторг, найдите мне ету умную книжку и где так написано, как вы тут нам растолковали хорошо! Язви ее, честная мать! Мене и орден не нужон, абы только книжку ету!..

А молодежь в один голос, со ссылкой на Дарвина, на школьные учебники, тоже начала волноваться и требовать ответа:

— Почему же в школе говорили: «от обезьян»?!

Помитинговать не пришлось. Раздалась команда:

— Рота! К бою — танки!

Вмиг рота рассыпалась и растеклась по траншее и приготовила к бою гранаты.

Немцы, оказывается, пошли в наступление по всей полосе нашей дивизии. Танки на большой скорости появились внезапно, вызвав некоторое замешательство, и соседние с нами два полка начали отходить.

Если левый и правый соседи отступают, то трудно удержаться и не кинуться следом, так как появляется опасность остаться в окружении. Тут психология у иного солдата такая: нельзя первому начинать отступление. Кто первый драпанет, тому трибунал. Пусть начнет кто-нибудь другой, а уж я потом посмотрю… что к чему…

Мы с парторгом распределили между собой левый и правый фланги батальона и разбежались по траншее в разные стороны. Я не знал, что вижу Петра Васильевича последний раз…

Танки уже и к нам подходят вплотную. Две наши «сорокапятки» сделали по выстрелу, но промазали. Танки ответили из своих пушек по «сорокапяткам» и вывели их из строя. Наши хлопцы начали кидать гранаты, но тоже не получается никак… Торопятся, и двое кинули свои гранаты, не выдернув чеку… В одном месте наши стрелки уже заколебались. Я бросился туда и вернул их в окопы — иначе танки сейчас начнут их утюжить, как вон в той роте, где солдаты бросили свои окопы и оказались под гусеницами.

Мы приняли бой, поджигая танки гранатами и огнем из стрелкового оружия, отрезая от танков немецкую пехоту.

Положение осложнялось с каждой минутой: соседние наши полки продолжали отходить. Мне тоже неохота попадать в бессмысленное окружение: не так много боеприпасов у нас. Но я нутром чую, что отходить нам рано, и до хрипоты ору во все стороны: «Держись! Хлопцы, держись!»

Тут подбегает ко мне один комсорг роты и подает полевую сумку старшего лейтенанта Васильева Петра Васильевича и его партбилет. «Вот и еще одного парторга батальона убило! — мелькнуло в голове. — Прощай, Петр Васильевич!..»

— А где комбат? — спрашиваю.

— Унесли. Ранило его.

Заместитель же комбата погиб еще три дня назад.

По уставу в такой ситуации должен взять на себя командование батальоном командир первой стрелковой роты. Но времени на его поиски нет!

— Комсорг, командуй! Чего ты притих! — кричит мне уже старшина, командир второй роты…

В этот тяжелый момент как из-под земли вырастает гигантская фигура нашего комполка гвардии майора Билаонова. С ним его адъютант гвардии лейтенант Коля Корсунов.

— Хлопцы, ни шагу назад! — громовой голос Билаонова встряхнул траншеи.

Хоть и легче стало на душе, ситуация больше не зависела от меня, но и не обрадовался я, увидев нашего комполка. «Все, конец, — подумалось. — Теперь с его «Ни шагу назад!» мы все или погибнем, или в плен попадем».

Билаонов — человек немыслимой храбрости. Отступить его не заставишь ни при каких обстоятельствах! Этот человек сам сложит голову, и мы вместе с ним…

И теперь, спустя десятилетия, я пытаюсь постичь феномен личности этого человека…

Вот он поднял с земли кем-то брошенное противотанковое ружье и механически открыл затвор: посмотреть хоть, есть ли патроны… Есть! Загнал патрон в патронник. В этот момент, как движущаяся фигура в тире, перед ним вываливается фашистский танк: остановился, сделал выстрел вперед из башенной пушки и несколько очередей из пулемета. В общем, дает понять, что он грозная сила и сейчас начнет действовать… Билаонов не нашел удобней позиции, чем стоявший рядом с ним древний дубовый крест, обросший лишайником. Положив свой ПТР на этот крест, Билаонов начинает прицеливаться в бок танка. Расстояние — не более пятидесяти метров.

Танкисты, разумеется, заметили целящегося в них из противотанкового ружья советского офицера, начали поворачивать в нашу сторону башню с пушкой и пулеметами.

Мы с Колей Корсуновым лежим рядом под ногами Билаонова. И вот ведь штука: хобот танкового ствола, разворачиваясь к нам, постепенно укорачивается и скоро уставился на меня черной дырой-зрачком. Я понимаю, что это смерть: зрачок ходит вверх-вниз, влево-вправо — это он ловит нас, чтоб «сфотографировать» точнее… Если бы вместо майора сейчас с ПТР стоял любой другой человек, я бы давно сиганул подальше в сторону! Ведь уж, казалось бы, все равно погибнет сейчас Билаонов, какая разница, что он подумает о тебе в последний момент… Но такова сила влияния этого человека, что невыносимо, чтоб даже напоследок он подумал о тебе: «Трус!»

Комполка все целится. Я приготовился принять смерть вместе с моим комполка и его адъютантом Колей Корсуновым. Сейчас все трое мгновенно умрем…

Грохнуло так сильно, что я не сразу понял, откуда грохнуло. Танк выстрелил или ПТР? Но если я пытаюсь это понять, значит, я

жив и живы комполка и Коля! Значит, первый выстрелил Билаонов?! Комполка стреляет еще раз, и я замечаю, что он ранен в правую руку… Танк загорелся! Мы с Колей хотим отвести раненого в безопасное место, но он уперся, приходится делать ему перевязку здесь. Фашисты торопятся выскочить из горящего танка, но автоматные очереди превращают энергично прыгающих фрицев в тряпичные куклы…

Да, появление Билаонова на позициях в критический момент, продемонстрированное им уничтожение фашистского танка заставило наш батальон сделать невозможное: скоро остальные пять танков, видимые в поле моего зрения, стали пятиться назад. Немцы уходят!..

В соседних полках тоже сумели переломить ход боя. Дивизия наша сохранила прежние позиции за собой.

На следующий день я был приглашен на заседание полкового партбюро, где единогласно занесли и мою фамилию в полковую книгу героев войны. Гвардии майор Павел Семенович Билаонов с перевязанной правой рукой сидел в президиуме, и я сидел рядом с ним. После заседания партбюро мы проводили Билаонова в госпиталь. Полк принял временно его заместитель по боевой части Тукхру Иван Иванович.

Я по долгожительству из всех комсоргов нашего батальона держу своеобразный рекорд. Держу…

С раннего утра события развиваются следующим образом. Трое наших конных разведчиков во главе с помощником начальника штаба полка старшим лейтенантом Власовым, вернувшись из глубокой разведки, доложили командиру полка: Станицын Казачок свободен.

Деревня сгорела, жителей нет… Мы получаем приказ: «Батальонам продолжать движение колоннами вперед, а разведчикам обеспечить дозор впереди колонны на расстоянии постоянной видимости». Разведчики, откозыряв, поскакали вперед, а батальоны двинулись по большаку за разведчиками. Пройдя не более пары километров без всяких ЧП, вдруг на наших глазах двое из конников рухнули с перепуганных лошадей, а в следующий миг третьего разведчика двое фрицев стащили с коня и уволокли за горизонт. Перепуганные кони примчались к нам обратно, и с трудом удалось их поймать. Мы сразу же развернулись боевыми порядками — «в цепь» — и продолжаем продвигаться, не встречая на своем пути никаких помех. Входим в сгоревшую и дымящую деревню. Да, действительно сгорела дотла и ни одной живой души! Вот она, наглядная картина «выжженной и мертвой зоны»!

Погода жаркая и безветренная. Горький и едкий дым от

пожарища закрыл над деревней небо. Солнце превратилось в большую чугунную сковороду. О том, что здесь была деревня, напоминают только стоящие как памятники над могилами — холмами куч головешек большие полуразрушенные и закопченные дымом глинобитные печи с широко разинутыми ртами и квадратными глазницами… Вокруг печек столпились обгорелые черные остовы вековых деревьев, напоминающие собой несчастных людей с распростертыми вверх руками, и будто они, обращаясь к Всевышнему, вымаливают у него для себя пощаду, но, не дождавшись ее, сгорели и теперь так застыли, чтобы все видели и убедились, что никакого Всевышнего на небе никогда не было и нет!….

Вокруг печек кое-где валяются искореженные в огне пожарища самодельные железные кровати с ажурными искривленными спинками. Там же валяются большие и малые чугунные и глиняные горшки. А на боках и спереди печек сквозь копоть просматриваются наивные и забавные рисунки, написанные химическими чернилами: «Корзинки подсолнухов», «Парубок со своей дивчиной», «Котята с мячом», «Петухи-драчуны» и «Хохлатки с цыплятками»… Мы медленно продвигаемся вдоль улицы.

В центре деревни, как и в любой, стоит журавель с высоко поднятым пустым деревянным ведром. Мы поспешили к колодцу с надеждой глотнуть свежей и прохладной воды. Не доходя до него, с краю улицы мы обнаружили труп старшего лейтенанта Власова. Его истерзанное тело мы погрузили в штабную машину, на которой его увезли на окраину деревни, чтобы там похоронить. Спешим к колодцу. Опускаем деревянную бадью вниз. Бадья ударяется о что-то непонятное, но не о водную поверхность, словно колодец высох. Вытаскиваем бадейку и видим на ней кровь… Все ясно, в колодец немцы сбросили трупы….

Недалеко от колодца опять видны трупы совершенно обнаженных женщин и даже малолетних девочек. Мы накрыли их своими плащ-палатками и пошли, совершенно подавленные, дальше…

В одной из печек я увидел крупного и слегка опаленного серого кота. Он лежит на животе в классической позе, подобрав под себя лапы и положив рядом пушистый хвост. Его печальный взгляд совершенно безразличен ко всему окружающему миру.

Кот не обращает на меня никакого внимания и не собирается удирать. У меня возникло сомнение: «А живой ли он?» И вдруг вижу, как у него из глаз текут слезы. Значит, живой… Мне очень хотелось погладить этого кота, но я не посмел, так как не

заслужил этого…

Я с невыносимой болью и жгучей тяжестью в душе отошел от этой печки, от сгоревшей хаты, от осиротевшего и чудом оставшегося живым «хозяина» — кота…

В конце пепелища мы увидели почти призрачную женскую фигуру, которая в дыму внезапно появляется и так же исчезает. Она, видимо, давно тут нас поджидает на краю дороги. Подходим к ней вплотную и останавливаемся вокруг нее. Нам интересно получить от живой свидетельницы правдивую информацию о том, что тут произошло. Женщина хоть до крайности истощена, но стоит прямо. Ее пепельно-седые, густые и волнистые волосы, до пояса, говорят о том, что она еще молода. Ее голова и лицо — пергаментная кожа, натянутая на череп. Заостренный и тонкий нос-клюв и глубоко запавшие глаза, бессильно опущенные костлявые руки и ноги-спички наводят меня на мысль, что перед нами человек, вышедший к нам навстречу с того света. Мы боимся спрашивать ее о чем-либо потому, что в ней еле-еле теплится жизнь. Один из пожилых пехотинцев, у которого сохранилась еще вода, наливает в стаканчик и подает ей. Она взяла стаканчик в свои тонкие и дрожащие пальцы и медленно с наслаждением выпила. Затем вернула пустой стаканчик, произнося по слогам: «Спа-си-бо-чки, но вы запоздали». Выговорив эти слова, она свалилась на руки пехотинца, который стоял ближе всех возле нее. Ее голова отвисла назад с открытыми глазами, а руки свесились, как пустые рукава. Мы поняли, что она мертва…

Наконец мы оказались на окраине деревни и подумали, что уже все позади. Но самое страшное мы увидели только тут. Вот они — все жители от мала до велика лежат рядом с дорогой. Пехотинцы, обнажив свои головы, медленно двигаются мимо нескольких сотен расстрелянных женщин, стариков и детей. Нам тяжело и стыдно. Я плачу навзрыд, задыхаясь от злости и ярости. В своих мыслях клянусь отомстить за это зверство власовцам и фрицам! И я это исполню в самое ближайшее время!

Двум смертям не бывать!

И вот наш 32-й гвардейский стрелковый корпус получил боевой приказ: форсировать реку Ворсклу с левого берега на правый, чтобы выйти к Полтаве с запада.

Ширина реки невелика — не более ста — ста двадцати метров. И глубина позволила бы перейти ее вброд. Но у реки болотистая пойма шириной не менее тысячи метров. Где и как форсировать Ворсклу? Разведчики с помощью населения самым подходящим местом для форсирования определили насыпную гравийную дорогу и мост через всю пойму. Подступы к мосту надо захватить и не дать фашистам разрушить его. Насыпная дорога через пойму высокая — пять-шесть метров, откосы крутые: кувыркнешься — и с маху засосет болото…

Расчеты показывают, что если эту тысячу метров продвигаться с относительной скоростью пятнадцать километров в час, то потребуется каждому солдату шесть-семь минут. А если набрать скорость тридцать километров в час? Тогда можно проскочить этот смертельный путь и за три минуты…

Жребий первому преодолеть мост и захватить плацдарм на правом берегу выпал нашему полку. Наш батальон идет передовым. Мы стали готовиться. Из дивизии нам прислали бортовые автомашины и гужтранспорт — двуколки, запряженные парами.

Провели летучие партийно-комсомольские собрания и обсудили, как лучше и с минимальными потерями выполнить боевой приказ. Двигаться нам придется под сильным артогнем гитлеровцев — насыпь и мост ими хорошо пристреляны.

Да, фашисты не пожалеют снарядов, и пробиться на тот берег смогут немногие…

Такого я еще не испытывал ни разу! Вот он, тот час, когда каждый проверит свою судьбу. Уж тут останутся в живых только самые везучие!..

Завтра в сплошном огне трудно уцелеть. Это знают все, но никто не изменился в своем поведении. Я не увидел ни в ком даже маленького намека на обреченность…

Я сам себя чувствовал до каждой живой клетки. Мысленно перемотал всю свою «киноленту» пережитого… Думал, что дышу последний день… Думал о неотвратимости. Куда с насыпи сиганешь? Никуда. Болото слева, болото справа. Дорога только одна — вперед. А вперед как? Через сплошные взрывы?

И я решил проскочить этот путь только на лошадях — на двуколке. Знаю очень важную особенность лошадей: они не

сбиваются со своего пути в самую сильную пургу и метель… Кони никогда не свернут с дороги, если будут взрывы со всех сторон… Лишь бы самим взрывом не убило их! Кони в темноте кромешной не заблудятся и не собьются! В шахте сам видел, как они без лампочки находят путь…

Выбрал пару монгольских лошадей с крепкой двуколкой.

Ездовой Моисеев спрашивает:

— Что, сынок, на лошадей больше надежда? — А сам похлопал по шее коня.

— Да, да, — говорю ездовому. — Кони надежней. Я сам работал в шахте коногоном и знаю лошадей хорошо. Никогда не подведут! Самые умные животные — это кони.

Моисеев слушает меня и, видно, радуется: он ведь всю свою жизнь прожил около коней. Задел я самую звонкую струну в душе его, и он по-простому и по-свойски говорит:

— Правильно, сынок! Лошади умнее людей! Они только сказать не могут, а понимают лучше нас!

В вещмешках у нас было достаточно всякой еды, и мы расположились под двуколкой закусить.

Моисеев вдруг смотрит на меня вопросительным взглядом и спрашивает:

— Слушай, сынок, ты под Сталинградом был или нет?

— Был, — говорю.

У него глаза округлились:

— Твоя фамилия Абдулов?

А я ему отвечаю:

— Не Абдулов, а Абдулин.

— Так я же был в вашей минометной роте! — воскликнул Моисеев. — Помню и командира роты, Бутенко вроде бы. Суворова помню с бородкой… Меня тогда из минометчиков в трофейную команду отправили, по возрасту…

Я вспомнил уже сам.

— Да, — говорю, — тогда ведь из роты вас, четверых старичков, перевели в трофейную!

Моисеев потускнел и сообщил:

— Убило их на Курской дуге.

Я сразу вспомнил своих семерых друзей-сталинградцев, которых смерть догнала тоже на Курской дуге… И, честно сказать, не обрадовался я, что наши дороги перекрестились с Моисеевым тут, перед смертельным броском через Ворсклу…

Подошел к нам разведчик, еще один старый знакомый со Сталинградской битвы — армянин Амбарцумьянц Григорий Леонтьевич. Он и его друзья ходили обследовать пойму и нигде больше не могли найти места для переправы на правый берег:

всюду болота непролазные…

Амбарцумьянц Григорий мой ровесник или года на два старше. Очень сильный, хоть и ростом невелик, с меня. Выразительные большие глаза. Три кубаря на петлицах. Разведчик. Мы знали, что он из особого отдела штаба корпуса. Когда Григорий приходил к нам в батальон, то не дай бог, если тыл задерживает боекомплекты или харчи! Никогда не спрашивал, сам видел все недостатки в батальоне. И никогда до трибунала дело не доходило: он ограничивался беседой о добросовестном выполнении обязанностей во что бы то ни стало. Григорию все были рады, особенно на переднем крае…

Амбарцумьянц темпераментно похлопал по холке нашего «монгола»:

— Эххь, кони вы, мои конньи-и!.. А ты, Мансур, как думаешь? На конях лучше ведь махнуть, а? — И, широко открыв глаза, медленно двигая веком, моргнул мне.

Я ему предложил присоединиться к нам в десант.

Он обошел коней кругом, обследовал копыта и подковы. Оглядел двуколку дубовую и воскликнул:

— Добро! Я с вами. А как вы думаете: ехать или на своих двоих?

Я ему сказал, что лично я буду «на своих двоих», Моисеев на двуколке, свой автомат и вещмешок с патронами и гранатами я положу в двуколку. Буду бежать рядом с двуколкой и держаться вот за эту веревку, намотав ее на кулак.

Гриша выслушал меня и сказал:

— Правильно. Я тоже побегу рядом.

И так мы, трое сталинградцев, составили свой экипаж. У всех судьба одинаковая, и неужели завтра всех нас троих догонит смерть?!

Поужинали втроем. Натаскали корм лошадям. Оставили себе продовольствия на утро, а остальное скормили коням. Они съели все наше угощение: и хлеб, и кашу пшеничную, и сахар. Наши судьбы сплелись теперь с судьбой лошадей из далекой степной Монголии. Сплелись вместе перед великим испытанием пять живых существ. На войне я много раз видел, как умирают раненые лошади. Они стонут, как люди, и глазами просят помощи или смерти. Стонут грудным стоном — по-человечески…

Лезут мне какие-то молитвенные слова и ниточкой тянутся бесконечно: «Милые мои кони, не подведите нас завтра, мчитесь во весь свой лошадиный дух только вперед! Не испугайтесь взрывов, которые полыхнут перед вашими лохматыми головами!» Прилег я на землю, и полились думы… Моисеев тоже не спит всю ночь. Видимо, свои думы думает… Когда я присел рядом,

показывая, что я не сплю, он мне говорит:

— Не о себе думаю. Я прожил свою жисть. Семью вырастил. Семь дочерей… Все увидел, все пережил… А вот ты и Гриша пацаны еще. Ничего не спытали, мужского счастья. Дажить и не обнимались с бабами… Скильки зятьев полегло, а!.. — И качает головой мужчина — отец семерых дочерей.

Рассветает. Я подошел к лошадям, которые стояли распряженные, но привязанные к двуколкам. Кони мордами поникли к земле и, может быть, тоже думают свои думы.

Запрягли коней. Сходил и принес в торбе воды прохладной из колодца. Напоил их. Все готово. Ждем сигнала. Мы знаем, за кем нам держаться вслед, когда будет команда «пошел!». Перед нами тоже двуколка с хлопцами.

Вот проехали к голове колонны штабные. Сейчас, вот-вот помчимся в неизвестность, но вперед, на врага.

В душе моей равновесие. Все плюсы и минусы равно расположились на ее крылах.

Загромыхали двуколки. Впереди началось движение. Раздаются команды и распоряжения, кому куда. До смертельной дороги еще километр или два. Будем выезжать к ней скрытно: многочисленными переулками, огородами, кустарником…

Мы тоже — с короткими остановками — трогаемся. Кто-то кого-то впереди кроет хриплым матом…

Мы втроем на двуколке, а потом, на смертельной тропе, мы с Гришей спрыгнем и побежим с разных сторон двуколки, держась за веревки.

Самые первые наши экипажи уже рванули вперед. Автомашины, артиллерия, кони, люди неудержимо набирают скорость и силу напора. Теперь уже ничто не остановит эту силу, даже смерть… Фашисты открыли шквальный артогонь из орудий всех калибров. Снаряды и мины с душераздирающим воем и рычанием полетели на насыпную дорогу, будто хотят сровнять ее с болотами.

Но движение не остановилось, и на большак виражами выскакивают все новые и новые экипажи. Фашистские снаряды начали доставать и тех, кто стоял еще, ожидая очереди. Подошел и наш черед.

Мы лихо, с ходу влетели на большак, и кони сами, понимая свою задачу, задрав высоко короткие лохматые хвосты, взяли в галоп. У впереди мчащейся такой же двуколки кони попались горячие, и мы еле успевали за ними, но интервал надо держать не меньше двадцати метров на всякий случай…

Моисеев бросил вожжи и, как клещ, вцепился в борта двуколки, чтоб не выбросило его. Мы с Гришей на ходу

спрыгнули и налегке, держась за веревки, привязанные к передку двуколки, мчимся на своих двоих…

Бежать легко, но дышать нечем: сверху на нас, как из гигантского люка, сыплется земля, песок, болотные водоросли, нос забивает грязная влажная пыль, легкие дерет дым и метан, который попер из болотной мешанины…

Снаряды рвутся вокруг с такой скоростью, что все поднятое в воздух не может сразу упасть обратно — взрывы подбрасывают снова и снова…

Впереди уже сплошь воронки, и двуколка прыгает — вот-вот развалится. Я уже подумал, что надо было к постромкам привязать наши веревки. Сейчас развалится двуколка, и кони умчатся одни. Без коней пропадем!

А кони мчатся все быстрей, в густой пыли и дыму я могу разглядеть только сверкающие подковы.

Я бегу с закрытыми глазами, так как берегу их, боясь ослепнуть от дыма и пыли. Изредка я открываю их, чтобы хоть на миг увидеть, что творится вокруг. Глаза мельком выхватывают картинки: летящие под откос отдельные детали от машин, от пушек, от двуколок… Мелькнул — живой еще! — оскал оторванной лошадиной головы, кувыркнувшейся в черно-зеленую мешанину болота… Мелькнула — о ужас! — чья-то заголенная и окровавленная спина без головы и рук…

Впереди мчавшаяся двуколка исчезла на моих глазах, а наши кони рванули в облако пыли и тоже исчезли… Неужели в двуколку попал снаряд?! Но веревка, конец которой крепко намотан на мой кулак, продолжает тянуть меня, и я продолжаю бежать вслепую. Легкие обжигает едкий дым недогоревшего тола… Это окись азота — очень ядовитый газ. Полон рот земли и песка. Глаза берегу и открываю редко, да все равно ничего не видно, спасибо, наши кони еще целые и, не сбиваясь, несутся, как шайтаны.

Лишь бы не упасть! Надо бояться воронок! То одна, то другая нога то и дело ухает в ямы, но я натренирован и сейчас напряжен до предела… А если впереди образуется завал и кони перепрыгнут — перепрыгну я?! Тело напружинено так, что мне кажется, я сейчас перепрыгну через что угодно…

Бежим, скачем, несемся, а насыпь никак не кончается…

Но вот под ногами прогремел мостовой настил!

Сейчас выскочим на правый берег!

Ну, родимые, жми! Неужели проскочим?!

— Моисеев! — кричу. — Держи вожжи!

Надо еще сгоряча не врезаться к фрицам, как на блюдечке!.. Свернуть бы хоть вправо или влево вдоль берега, как кончится

насыпь…

Моисеев натянул вожжи и, срываясь, тянет левую вожжу на себя… и кое-как сворачивает с дороги на берег…

Мы с Гришей на ходу хватаем с двуколки свои автоматы и мешки, отпускаем веревки с задубевших кулаков и падаем в густую траву, прижимаемся на секунду к прохладной земле.

Не терпится взглянуть, как следом за нами прорываются наши хлопцы. Вся насыпная дорога через пойму — в лохматых космах плотных и непрерывных взрывов. Вдоль нее из болота подымаются вертикально черные столбы и опускаются. Подымаются и опускаются. Болото ухает, охает, бухает, стонет… Стремительно несется мешанина из людей, машин, лошадей, пушек. На правый берег к нам вся эта сплошная живая масса вылетает, растекаясь вправо и влево, растворяясь в траве, в кукурузе, в пшенице…

Мы с Гришей, не успев проститься с Моисеевым, не обняв на прощание наших спасительниц-лошадушек — двуколка по инерции бега умчалась дальше вдоль берега, — не успев и друг с другом проститься, разбегаемся с ним по своим местам.

Вижу нашего гвардии майора Тукхру Ивана Ивановича — как заколдованный он, и его не берет ни пуля, ни снаряд!

Капитан Картошенко Николай, наш комбат, тоже проскочил со своим штабом!

Радуюсь каждому, кто выскакивает на этот берег со смертельной дороги, и удивляюсь: «Как это они уцелели?!» Своя собственная благополучная переправа сюда мне представляется уникальным и неповторимым чудом!..

Вот, слава аллаху, и Янсон! Как сохатый, бежит под тяжестью минометного ствола наш Академик, Янсон Алексей Иванович, а за ним кто-то тащит лафет. А вон Лопунов Серега с плитой… Шамрай Вася! Кобылин Коля! Со своими «максимами»! Прошмыгнули и уже торопятся открыть пулеметный огонь! Смотрю — медсестра знакомая! Это ведь Тоня! А вон Аня с Галей! Даже девчонки проскочили! Связист Семенов Владимир уже тянет свою катушку…

Но многих не нахожу глазами…

Жив — и ни одной царапины — наш комиссар полка гвардии капитан Егоров Владимир Георгиевич! Полегче сделалось на душе. Тоже сталинградец! А еще веселей стало, когда увидел, как наши артиллеристы Ночовный Леонид и Емельянов Иван разворачивают свою полковую 76-миллиметровую пушку и уже готовят первый выстрел…

А где же еще пушки?!

Мост уже разрушен, но движение продолжается! Теперь уже

по новой «насыпи» — из перевернутых машин, пушек, двуколок, лошадей, людей…

Через полчаса послышалась команда «Вперед!», наше «урррра-а-а!» прокатилось от края до края, и полк пошел в атаку, захватывая плацдарм на правом берегу Ворсклы!

Гвардейский корпус стремительно развивал наступление. Мы еще раз перешли вброд Ворсклу — в том месте, где ее когда-то форсировал со своим войском Петр Первый, прошли мимо гранитного креста в память о русских воинах, разгромивших шведов под Полтавой… и 23 сентября вошли в Полтаву.

Нас встретили женщины и старики. Исхудалые — кожа да кости… Но радостные. На разрушенной мельнице обнаружили приготовленную к эвакуации в Германию муку, которую тут же начали раздавать солдатскими котелками полтавчанам.

Не прошло и часа, как нас, освободителей, начали угощать полтавскими галушками…

* * *

Левобережная Украина… Как мы ни старались помешать фашистским захватчикам, все же они успели сжечь много деревень, хуторов, сел, городов… Всюду пепел, угли, дым. Стоят одни глинобитные печи на месте домов… Обгорелые деревья… Полная разруха. Много надо будет теперь украинскому народу потрудиться, чтоб возродить и вернуть к жизни этот край.

Вот что сделала война — кругом один пепел.

В Кременчуге — мы вошли в него 29 сентября 1943 года — освободили лагерь, в котором было замучено несколько тысяч советских военнопленных. Здесь же содержались и попавшие в плен партизаны-подпольщики. Фашисты в этом лагере применяли самые жестокие способы пыток и умерщвления заключенных. Виселицы здесь были необычные — фашисты подвешивали людей на железные крючья: за ребро, за одну ногу, за одну руку, за все конечности одновременно, за челюсть… Палачами в лагере были опять же власовцы. Всего висело около сотни человек, но живыми удалось снять двенадцать-пятнадцать.

Я сам наблюдал потом эпизод, который запомнил на всю жизнь. По улице бабы вели нескольких власовцев и немцев. У каждой в руках — топор или вилы, кочерга, палка… Бабы сильно возбуждены, кричат-шумят по-украински, я ничего не могу понять. Но вот остановились возле ямы, стали толкать в нее своих «пленников»… Один фашист, упираясь, визжит: «Майн ин хауз драй киндер!» А бабы ему: «А у нас щенята, чи шо?! Кыдай його

тудысь!..»

И никакая сила не заставила бы меня приостановить эту справедливую расправу с фашистскими палачами.

В Кременчуге фашисты заминировали все, что могло привлечь к себе наше внимание.

Парторг соседнего батальона поднял с земли русскую балалайку… Погиб сам, погибло еще семнадцать человек вокруг него.

Я увидел новый велосипед, прислоненный к плетню в переулке, и моя так и не утоленная мальчишеская страсть вдоволь покататься на велосипеде прямиком понесла меня к этому плетню. Ускоряя шаг, держу путь к велосипеду, сверкающему никелем… Но к нему же, стараясь меня опередить, устремился старший лейтенант. Огорченный, я тем не менее принимаю независимый вид: мол, не очень-то и хотелось. Разворачиваюсь на сто восемьдесят градусов и шагаю в сторону улицы… Вдруг сзади взрыв! Оборачиваюсь: ни старшего лейтенанта, ни велосипеда — одна большая дымящаяся воронка на месте плетня, к которому был прислонен велосипед…

Жители Кременчуга, покинув убежища, спешили обратно в свой город, в свои дома, и по всему городу гремели то там, то тут взрывы. Подрывались и дети, и женщины, и солдаты…

* * *

«Нас зовет Правобережная Украина!», «Даешь Днепр!», «Вперед за Днепр!» — всюду лозунги и плакаты. Во всех газетах и в листовках читаем призыв нашей Родины.

И вот перед нами широченный Днепр. Тысяча сто метров ширины! Как будем переправляться? На соломенных снопах будем переправляться… Саженками, саженками вплавь через Днепр! Три часа будешь бултыхаться в воде, пока до того берега добултыхаешься. Да под огнем!.. Ну, Мансур, как? Опять судьбу пытать будем, а? Хорошо, если еще не вся твоя судьба израсходована. А если уже нет ее? Сколько смертей ты видел в упор?! Не иссякли золотые запасы в казне твоей судьбы?..

5 октября 1943 года ночью в районе деревни Власовки, чуть выше Кременчуга, наша 66-я гвардейская дивизия в составе 32-го гвардейского стрелкового корпуса начнет переправу с высадкой на острове Песчаном. Условное название острова «Каска».

Остров довольно большой — пять квадратных километров, совершенно плоский, на уровне с водой. Ни травинки, ни кустика. Серый мелкий песок…

Глядя с нашего левого берега еще днем на этот песок, я почему-то вспоминал, как зашел в Кременчуге в небольшую каменную церковь. Ее несколько раз пытались разрушить фашисты. Взрывали ее и поджигали. Все деревянное в ней сгорело, но церковь стоит целая. Во дворике той церкви я встретил старца.

— Кто вы, отец?

— Священник.

Мы присели и разговорились. Я упоминал уже, что я очень любопытен от природы ко всякому человеку.

Священник был не в ризе, а в ватной старенькой фуфайке и совсем не был похож на служителя культа. Интересно показалось с ним поговорить без этих обрядовых церемоний, в которых я не знаю толку.

А о чем поговорить? Еще в детстве я мельком слышал, что, мол, в Библии наперед написано, какие события должны происходить на белом свете. Мол, в Писании предсказывалось все, что было и будет на свете, только непонятными словами. Ну, я для затравки и говорю:

— Если в Библии все предсказано, то уж наверняка предсказана эта Вторая мировая война, а?!

— Да, да, мой сын.

Я удивился, что он не стал мне морочить голову никакими мудреностями — и бух ему самое главное, что меня волновало и мучило:

— А долго ли эта война продлится?

Уверен был, что уж тут-то он пожмет плечами. А он задумался, будто считая или припоминая, и говорит мне:

— Примерно этак сорок восемь месяцев…

Чем руководствовался священник, называя эти сроки? Конечно, не Библией. Я это понимал. Скорей всего ему подсказывала интуиция.

Теперь, сидя на нашем левом берегу Днепра, прицепившись мыслями к этой цифре 48, я считал-пересчитывал, и получалось, что если этой цифре верить, то Днепр — середина войны…

Пять дней — с 29 сентября по 4 октября 1943 года — наша дивизия готовилась к форсированию Днепра. Каждый солдат стрелковых рот должен был соорудить себе «плавсредство». В плащ-палатку заворачивали снопы соломы и зашивали суровыми или простыми нитками. Получалась большая подушка. Испытывали ее на воде и убеждались, что за нее можно держаться в расчете не утонуть. Штопали свои вещмешки, пробуя их на воде…

Я плавал очень хорошо. Рос в Челябинской области на реке

Миасс. Много и озер там: Тургояк, Енышко, Чебаркуль… Во всех озерах я купался и плавал на большие дистанции, кто дальше заплывет… Но поплавок и мне был нужен, так как не налегке поплывем, а при полном боевом.

У меня на ногах парусиновые сапоги. Очень плотно облегают ноги. Особенно когда намокнут. Автомат. Два диска. Две гранаты. Пистолет «ТТ». Поплавком будет у меня служить вещмешок. Я его заштопал хорошо, смазал шпигом ржавым американским, набил свежей сухой соломой.

В ночь на 5 октября 1943 года в районе деревни Власовка мы начали переправу с левого берега Днепра на «нейтральный» остров Песчаный.

Остров этот разделяет Днепр на два рукава — левую и правую протоки. Наша левая протока — семьсот метров ширины, а правая, со стороны немцев, — триста-четыреста. И вдобавок узкая протока, мелкая — по ней давно пробрались на тот край острова немцы и подготовились встретить нас в хорошо укрепленных и оплетенных под цвет песка траншеях. Но мы еще не знали этого…

Спуск на воду — тихо, без шума и разом — все батальоны осуществили намеренно выше по течению, с поправкой на снос течением… Фашисты не обнаруживали себя пока ничем. В нашем батальоне я был назначен замыкающим. Вот уже никого не осталось на берегу из нашего батальона, и я вошел в холодную воду Днепра. Вода черная. Ночь тоже хоть глаз выколи. На небе ни единой звездочки… Вообще-то, для переправы лучшего состояния в природе и не надо.

Поплыл. Тяжеловато, но плыть можно. Семьсот метров да плюс снесет метров четыреста… Ничего, выдюжу. Плыву. Прикидываю, что уже меньше половины расстояния осталось…

И в этот миг лопнуло небо, знакомо завыли мины и снаряды, полетевшие в нас с правого берега… Водопад обрушился на меня сверху вместе с поднятым вверх всем, что держалось на воде. Мои ноги натыкаются на всевозможные предметы — то на небольшие, то на что-то массивное и мягкое… На воде масса всякого крошева: щепы, обломков, тряпок, досок, палок… Поверхность, как ряской, затянулась соломой из разрываемых снарядами «плавсредств».

Вода, как в шторм, упругими ударами кидает меня из стороны в сторону. Это взрывы снарядов создают гидроудары со всех сторон. Вот меня взметнуло в воздух упругим водяным столбом, но тут же, падая обратно, я погрузился под воду, и мои перепонки острой болью ощутили сотню гидроударов от взрывов… Нет спасения ни на воде, ни под водой! Я вспомнил,

как иногда мне приходилось глушить рыбу… Вот теперь сам в роли оглушенной рыбы.

Стараюсь грести сильнее и сильнее, чтобы успеть выбраться на остров, но меня ударами волн крутит во все стороны. То я начинаю плыть обратно к левому берегу, но, испугавшись его, скорей поворачиваю к правому. Острова я меньше боюсь, я ведь еще не знаю, что там засели фашисты… Правого берега тоже, хотя оттуда бьют сейчас сотни стволов фашистской артиллерии… Боюсь хватающихся за меня утопающих людей… Грех ведь большой бояться своих товарищей, которые, обезумев и нахлебавшись воды, хватают друг друга мертвой хваткой и вместе скрываются под водой… Утопающий подобен осьминогу, который бросается из засады на свою жертву, и никакими силами уже не вырваться из его клещей… Вот ведь страх какой!.. Плыву один, среди безумного хаоса и утопающих…

Но вот замечаю, как один солдат, часто опускаясь под воду, хватает ртом воздух: похоже, мог бы еще плыть, но обессилел. Как помочь бедняге? Я аккуратно приблизился и к его руке прикоснулся своим «поплавком». Его руки инстинктивно обвили вещмешок намертво, а я за спину чуть поддерживаю его. Он дышит часто, со стоном и неморгающими глазами смотрит на этот мир, как будто впервые видит его в своей жизни. Страшный был его вид.

Он уже отдышался и начал соображать. Я плыву рядом, слегка его подталкиваю. Он по слогам говорит мне:

— Спа-си-бо, друг!

Я обрадовался, что теперь он неопасен для меня, и тоже одной рукой взялся за вещмешок. Я плыву на спине.

Мой спасенный тоже ослабил хватку, стал держаться за мешок одной рукой, а правой начал грести. Странно и прекрасно устроен человек. Даже и в таком аду можно пережить минуты подлинного счастья. Я рад, что обрел товарища, что спас ему жизнь. Плывем и смотрим друг другу в счастливые лица…

Наконец мы почувствовали ногами дно и встали. Дно пологое. Вспышки взрывов освещают фигуры наших солдат, бегущих от берега в глубь острова. Моментальные вспышки высвечивают столпотворение… Взрыв! И снова взрыв! Песок встал вокруг меня дыбом и не хочет опускаться… Казалось, что тысяча доисторических ящеров пляшут на песке, распустив свои перепончатые черные крылья, которыми они ловят и навсегда поглощают людей… оглушительно хохочут, сверкая огненными глазами… Мы, маленькие человечки, мечемся между лап этих чудищ, ища спасения…

Вместе с песком с неба падают какие-то куски, похожие на

истрепанное мокрое дерево… Это куски человеческих тел…

Рядом со мной бежит мой спасенный и кричит бегущим и упавшим:

— Где тринадцатая?.. Где тринадцатая?..

Пока мы барахтались в Днепре, все полки и дивизии перемешались, и теперь никто не может найти своих… «Где наши?.. Где комбат?..» — мелькает у меня в голове… Возник откуда-то и прицепился к сознанию глупый ответ: «Ищи в песке! Ищи в песке!..»

Почти сплошь лежат в песке то ли трупы, то ли живые — не поймешь. Торчат одни головы, как арбузы на бахче…

У меня песок всюду. Во рту тоже. Хлещет по лицу, обдирая, как наждаком, кожу. Хлещет, стегает, засыпает тебя сверху. Взрывная волна сечет и сшибает влево… Не успеваешь упасть, как другая взрывная волна швыряет вправо… Мотает во все стороны, и я падаю. Извиваюсь и тону в мокром жидком песке, как краб. Песчано-водно-илистый раствор плотно облегает мое избитое и измученное тело. Хочется лежать не двигаясь…

Голову спрятать не позволяет вода — захлебнешься. Выставить — разве это спасение? Оторвет взрывной волной. Если ранит, то не смогу выбраться…

Ишь как засосало, еле вылез!..

Мой товарищ из 13-й гвардейской дивизии ищет своих, но никого не нашел, упал рядом со мной и кричит мне в ухо:

— Меня Сашкой звать — Колесников Сашка. Давай не будем разлучаться. Понял? Помогать, если что, друг другу. Понял?

— Понял! — кричу.

Фашисты долбят и рвут остров. Не дают никакой передышки. Что же делать дальше? Наши автоматы не работают — все щели заклинило песком, гранаты тоже… Торчат дула полузасыпанных «максимов», только саперные лопаты блестят — единственное оружие, которое не боится песка… Да и где наш противник, с которым мы станем биться? Фашистская артиллерия на правом берегу Днепра?! На берегу, от которого нас отделяет еще одна протока!..

Мы с Сашкой решили пока углубиться по острову, в направлении к правому берегу Днепра. Там тише, там нет взрывов, там «мертвая зона»…

Бежим, перепрыгиваем через людей, лежащих, как тюлени… Стоп, дальше уже никого. Но что это такое — навстречу нам, в лицо, бьют пулеметы! Их выдают выхлопные красные языки пламени. Значит, фашисты на острове?! Так вот почему там не рвутся снаряды — фашистские артиллеристы бьют через своих! Вот оно что! На острове немцы!..

Надо ухо держать востро! Но мы все оглохшие. Надо смотреть в оба! Но глаза наши забивает проклятым песком… Плохо наше дело. Плохо.

Рассвело. Фашисты усилили артобстрел. Им с высокого правого берега Днепра хорошо видно своих и чужих на светлом фоне песка. Бьют безнаказанно. На небе ни самолетика. Куда делись наши самолеты?! С нашего левого берега и артиллерии не слыхать!.. Впечатление такое, что мы брошены на острове на произвол судьбы.

Но никто не покидает остров. Все ждут своего часа, зарывшись в песке. Один солдат, похожий на Тараса Бульбу, стоит на четвереньках. Его усы, как у моржа, обвисли до подбородка. Он мотает головой и хочет стряхнуть свою глухоту. Взрывы пляшут вокруг, а он, мотаясь во все стороны, бодает воздух… Я не мог глядеть на него… А когда через несколько минут взглянул, увидел только торчавшие из песка каблуки его ботинок…

Фашистские снаряды бьют и бьют, но никак не могут перебить всех нас. Делая пятиминутные паузы, вновь и вновь возобновляют артогонь. Двадцать минут долбят — и опять на пять минут… В голове моей снова прогоняется «кинолента» пережитого на войне. Вот дорога через Ворсклу, вот Червоный Прапор, Драгунск, вот Прохоровка… Вся Курская битва вспомнилась мне… А вот мелькают кадры Сталинградской битвы… Нет, нигде такого жуткого положения не было еще, как тут! А я-то думал, что все ужасы жестоких сражений остались под Сталинградом, под Клетской, у Калача-на-Дону… Я думал, самые тяжелые бои остались на Курской дуге и никогда, нигде не будет мне труднее и опаснее, как было там, у Прохоровки, у Драгунска, на смертельной дороге через Ворсклу… А теперь на тебе — этот остров на Днепре! Остров-могила! По несправедливой жестокости и ощущению обреченности он затмил в моем восприятии все битвы от Волги до Днепра.

Мы, безоружные, оглушенные, полуслепые, контуженные, разрозненные, беспомощно умираем под жесточайшим артогнем гитлеровцев!.. Лезут — я их гоню, а они лезут — мысли о чьей-то стратегически непоправимой ошибке…

Никакой связи с нашим левым берегом! Вся польза от нас только та, что мы отвлекаем на себя массу фашистской артиллерии… которую гитлеровцы могли бы сейчас использовать где-нибудь в другом месте…

День прошел. К ночи фашисты прекратили огонь. Мы с Сашей возобновили поиски своих. А с нами все, кто может передвигаться… Ищут хотя бы полк! Полк найдешь если, то и батальон найдется. А штабы дивизий остались на левом берегу

Днепра.

Кое-где хлопцы жевали хлеб и поделились с нами. А как дальше?!

В расчете, что их переправят на левый берег, к воде сползлось множество раненых.

Надо бы сообщить на левый берег! Сашка предлагает мне переправиться туда вплавь, найти командование… Сашка прав, но мне страшно. Посчитают, что я струсил, что сбежал с острова под предлогом спасти раненых, припишут еще мне вдобавок паникерство…

То, что я придумал и предложил Сашке под утро, представлялось мне менее страшным. Когда Сашка выслушал мой план, у него глаза заискрились.

А план был таков. Не искать больше «своих» — здесь все свои, — а сколотить ударную группу и на рассвете атаковать фашистские окопы или траншеи, что там у них есть, на противоположном берегу острова. Там наше спасение от артогня — это ясно… Но как атаковать без автоматов, без гранат?.. Нашими автоматами будет ослепляющее солнце в глаза гитлеровцам! Нашими гранатами будут внезапность и быстрота! «Урррра!» — и верхом на фрицев в их траншеях и окопах! Топчем их ботинками, рвем их зубами! Отберем у фрицев автоматы и пулеметы — круговая оборона!.. Там и жратва.

Кроме Сашки, выслушали мой план еще многие солдаты. Были и такие, кто назвал план нереальным, но все согласились действовать. Тут, на острове, все варианты действия хороши, поскольку все равно погибать… И уж лучше в драке погибнуть, чем лежа на мокром песке.

Быстро собрались — больше чем пятьсот человек! — втихую передвинулись как можно ближе к немецким траншеям и замаскировались — зарылись в песок. Сигнал для атаки — когда моя группа встанет во весь рост!

Еще не рассвело — чуть засерело на востоке, — фашисты открыли артогонь. Сначала «пропахали» далеко позади нас, там, где раненые, потом перенесли артогонь на середину острова, к нам…

Сильный взрыв ударил в мой затылок, кажется, не менее чем тонной песка, и я уткнулся в песок, не успев сожмурить веки — так и припечатался к песку открытыми глазами!..

Звон в голове, глаза жжет, темно, и лежу, как под гигантским прессом. Всем телом делаю рывок вверх, чтобы вырваться из-под пресса. Голова легко вздернулась, и тут только я понял, что на мне нет никакой тяжести. Но я ничего не слышу и не вижу… Вслепую рою перед лицом ямку, в нее набирается вода, я

горстями хватаю ту воду пополам с илом и песком и плескаю в открытые свои глаза. Мне необходимо видеть! Плещу в раскаленные и воспаленные глаза грязью и различаю перед собой кровавый и мутный проблеск света… Сначала бордовый, потом все светлее и светлее…

Сашка разгреб песок и, набирая воду почище, тоже плещет мне в глаза. Я пробую моргать — мне больно! Моргаю, моргаю, и мне все лучше и лучше… А мертвая тишина — только для меня. По-прежнему взрывы кругом, я их еле-еле вижу, но не слышу. Сашка рукой тычет меня мордой в песок, когда надо пригнуться. Потом, когда можно, поднимает меня за шиворот. Ох, Сашка, Сашка, что бы я сейчас делал, если бы не ты. Выручай, друг!

Нет для меня звука. Повторяю движения своих товарищей: они головой прижимаются к песку — и я так же… «Пропал, пропал, — думаю. — Все, конец…»

Оглянулся на восток и увидел выкатывающееся из-за горизонта солнце. Сашка мне под нос свой большой палец торчком тычет: хорошо, дескать, что никаким случайным облаком его не закрыло! И по песку «пробежал» двумя пальцами: в атаку, дескать… Я киваю одобрительно.

Встал — и рад, что ноги меня держат!

Встали мы во весь рост разом десять-пятнадцать человек, как и было уговорено. Не успели сделать три первых шага вперед, как полутысячная лавина выпрыгнула за нами из песка и черной бурей понеслась в сторону фашистских траншей. Вижу разинутые в крике рты… Кричу и я, хотя не слышу своего голоса, видимо, сорвал голосовые связки, горло схватывает саднящая боль… Пробуксовывая в песке, бегу навстречу испуганным лицам немцев… Еще бы не испугаться — мы в буквальном смысле из-под земли, из-под песка выросли и обезумевшей лавиной несемся на них. Некоторые торопливо перезаряжают свои автоматы, на большинстве же лиц выражение полной растерянности. Наверное, один вид наш был способен содрогнуть психику. Странное дело, но мне самому делается страшно оттого, что я вызываю такой ужас. Это трудно рассказать. Я вижу оцепенелый ужас в глазах человека, этот ужас переплескивается в меня, растет во мне, удваиваемый ответным взглядом. Не в силах разъединить со встречным взглядом свой взгляд, бегу быстрей и быстрей, чтоб скорей покончить с этим разрастающимся до невыносимости состоянием… Убить!..

Не устаю повторять: будь проклята война!

Многие среди бегущих рядом со мной падают… Но солнце ослепило немцев, и они бьют неточно.

Вижу немца, который уже бросился наутек — карабкается на

противоположный борт траншеи. У офицера в крике открыт рот, он стреляет из пистолета, и солдат куклой сваливается обратно в траншею. Но всех не перестреляешь — уже другие выкарабкались и бегут…

Мы прыгаем сверху на плечи самых отчаянных или просто парализованных ужасом немцев… Топчем и давим их каблуками и пальцами, отбираем автоматы…

Вон наш солдат сидит верхом на фрице и ездит на нем взад и вперед… Я своим заклинившим автоматом работаю как дубиной, наконец срываю с убитого фашиста исправный автомат, и теперь мне сам черт не страшен — стреляю в убегающих фрицев…

До самой воды очистили мы себе пятачок в траншеях, все вооружились немецкими автоматами. С правого и левого флангов кидаются на нас немцы, как бешеные собаки, но у нас и гранаты есть, и пулеметы…

Наконец у немцев иссякают силы.

Мы выкинули трупы из траншей и первым делом кинулись перевязывать друг друга.

Сашка мне в котелке принес чистой воды, и я ладом промываю свои глаза. Жжет теперь меньше и вижу лучше, но ничего не слышу.

Хлопцы жуют и, вижу, все прислушиваются к звукам вокруг: мы в круговой обороне. Можно не бояться только артогня — по бокам у нас фрицы, немецкая артиллерия сюда бить не станет.

Сашка свой большой палец держит кверху — это значит: «Обстановка нормальная!» Заглядывает мне в уши и мимикой показывает: «Нет ничего там». Вопросительно глядит на меня: мол, не пойму, почему не слышишь? А мне кажется, что в мои уши забиты деревянные пробки…

Пятые сутки держимся в круговой обороне… Когда же будет команда уж или «вперед!», или «назад!»? Припасы, найденные у немцев, мы съели…

Утром 12 октября не могу понять, что с хлопцами. Заинтересованно вертят головами и стараются высунуться из траншеи. Наконец Сашка показывает знаками: тишина, мол, артналета не слышно! И как только он мне это втолковал, в тот же час моя глухота прошла. Уж, видно, шибко моим ушам захотелось услышать тишину!..

И с флангов фашисты не шевелятся… Мы с Сашкой и еще несколько человек вылезли из траншеи. Шаг за шагом обследуем вокруг нас обстановку. Траншеи немцев пустые!

А может, это хитрость какая? Может, немцы ушли, чтоб их артиллерия могла перенести сюда огонь?! И все караулят траншеи, чтоб спрыгнуть обратно, если что…

Вижу в разных местах на острове группы наших солдат — и тоже, вытянув свои исхудалые шеи, крутят головами, ищут кого-нибудь спросить: «В чем дело? Почему немцы не открывают артогонь?»

А остров походит на лунный пейзаж. Воронки, воронки… Разные по калибру. В воронках кровавая густая жидкость и трупы, трупы, трупы… Да, хорошо тут поработала фашистская артиллерия, будь она неладна!

Тяжелый трупный запах наизнанку выворачивает кишки. Нужны мы еще здесь? Похоже, что нет. Кучки уцелевших людей скорей, скорей двигаются к Днепру. Прощай, остров-могила!

Собственно, приказа оставить остров ниоткуда не поступало, но мы с Сашкой тоже вошли в воду и поплыли к нашему левому берегу. Днепр «тихо несет свои воды…». Никто не стреляет. Тишина.

Вышли на левый берег, стали раздеваться наголо и полоскать в Днепре свою одежду. Отжимаем не торопясь.

Развели костер. Сушимся. Все молча, без разговору, как после похорон. Ни чести, ни славы ждать нам не приходится: ведь приказа бросать остров не было…

— Пошли. Надо найти какое-то начальство и доложиться.

Идем гуськом человек пятнадцать-двадцать. Впереди скопление вокруг чьей-то походной кухни… Пшенная разваренная каша с подсолнечным маслом! Дали и нам. Едим, жадно вдыхая аромат.

Не верится мне: «Как я остался живой?!»

Если буду живой после войны, напишу об острове-могиле… хотя нет, не могиле… Об острове смерти, от которой мы увернулись…

Штаб моего 193-го полка оказался ближе всех. Первый, кого я там встретил, был начальник штаба капитан Бондаренко.

— Был ли приказ сниматься с острова?!

Бондаренко мне утешительно:

— Приказ был еще десятого октября.

При мне заходят в штаб чудом уцелевшие на острове офицеры, солдаты, и у каждого первый тревожный вопрос:

— Был ли приказ?..

Бондаренко успокаивает каждого:

— Был приказ сниматься десятого октября.

И только тогда человек расслабляется, с души у него сваливается камень.

К моим хлопцам в это время подошли несколько офицеров-корреспондентов: расскажите да расскажите… Но разговаривать нам было невмоготу. Я передал хлопцам, что мне сказал

Бондаренко, и раз мы покинули остров согласно приказу, то каждому хотелось скорей найти свою дивизию, полк, батальон, роту… «А то, наверное, пришлось бы нам плыть обратно?» — думали мы…

Только через три десятка лет я узнаю, что наш корпус выполнил свою боевую задачу — осуществил «демонстрацию ложной переправы». За то время, пока мы отвлекали огонь фашистской артиллерии на себя, наши войска провели бескровные переправы выше и ниже нас по течению Днепра. А в шестидесяти километрах ниже Кременчуга в районе деревень Дериевки и Куцеволовки наши саперы навели через Днепр понтонный мост!

С нашего острова группами и в одиночку продолжали прибывать уцелевшие. Подходили к кому-нибудь и в первую очередь задавали тревожный вопрос: «А был приказ?..» И, только убедившись, что приказ оставить остров был, что они приплыли сюда согласно приказу, гвардейцы подсаживались к пшенной каше…

Вот оставшиеся в живых в нашем полку после этой операции: пулеметчик Шамрай Василий Кузьмич — не потерял свой «максим» даже в этой передряге, с ним вместе еще двое пулеметчиков, одного я знал — это Тимонин, храбрый парень; минометчик Ян-сон Алексей Иванович, наш Академик; разведчики Добкин Ким Вениаминович и Амбарцумьянц Григорий Леонтьевич; наш полковой комиссар Егоров Владимир Георгиевич снялся с острова последним. Комиссар всегда так поступал: если «вперед!», то первым, а если «назад!», последним… Это кого я лично сам знаю.

Остались чудом живые и наши комбаты Картошенко Николай Михайлович и Гридасов Федор Васильевич.

Еще большее чудо удалось совершить 145-му гвардейскому полку нашей 66-й дивизии. С остатками своих гвардейцев командир полка гвардии подполковник Алексей Петрович Дмитриев сумел вброд преодолеть правую протоку, зацепиться на правом берегу и закрепиться там. Гвардейцам Дмитриева немаловажную помощь оказала подпольная комсомольско-молодежная группа «Набат» во главе с Василием Ивановичем Усом, которая действовала в селах Белецковка и Маламовка. Алексею Петровичу Дмитриеву за этот подвиг было присвоено звание Героя Советского Союза.

Я ранен

Четвертый месяц я комсорг батальона. Сколько было атак! А я живой. Могут удивиться: уж очень везучий, что ли?! После войны по лотерейному билету ни разу не выиграл, кроме как один рубль, а там ни пуля, ни штык не брали. Счастлив ли я на самом деле? Я считаю, что счастлив.

Глубинное содержание души солдата Великой Отечественной очень интересное. Если каждого из нас, фронтовиков, вызвать на откровенность, то некоторые признания могут показаться наивными, смешными даже. Я, например, всерьез боялся, что если я погибну, то погибнет наша Родина. Когда меня ранило за Днепром под Знаменкой 28 ноября 1943 года, я испугался: как же теперь без меня? Кто же будет воевать, если я тяжело ранен? Конечно, это было наивно. Но именно от этого наивного испуга я первое время не мог отделаться. И только потом, когда без меня освободили нашу территорию, когда без моего участия вошли в Берлин, я сам над собой посмеялся за свою самонадеянность. Но я и теперь считаю, что моя философия была верной. Каждый человек должен себя считать ответственным за судьбу всей страны. Только так можно добыть нашу большую и главную Победу!..

После операции на «острове смерти», примерно 20 октября 1943 года наша 66-я гвардейская дивизия, от которой осталось не более двух рот личного состава, в районе деревень Куцеволовка и Депиевка легко переправилась через Днепр по понтонному мосту, с левого берега на правый, где уже был создан гигантский плацдарм для развития наступательных боев за Правобережную Украину.

Первым крупным селом на нашем пути на г. Кировоград оказалось уцелевшее село Депиевка, в которое вместе с нами возвращались из лесов и кукурузных полей местные жители, в которых они скрывались от гитлеровских карателей. В тот же день наш полк пополнился местными новобранцами-добровольцами. Новое пополнение прибыло в своих гражданских одеждах, и полк в те дни был с виду похож на большой партизанский отряд из-за того, что у нас не оказалось в наличии форменного обмундирования. Своих новичков мы в шутку прозвали «кукурузниками». На ходу угощаясь галушками и варениками, мы маршевой колонной выступили дальше. Следующим селом, в которое мы вошли также без боя, была Куцеволовка, в которой нас ждали местные партизаны из отряда «Набат», не позволившие немцам ограбить село и угнать в

Германию в рабство местное население. Все «набатовцы» и остальные мужчины добровольно влились в наш полк. Партизаны успели разведать, что немцы на подходе к следующему хутору Дача подготовили для нас засаду. Естественно, мы с помощью партизан успешно обошли хутор, и немцы были вынуждены отступить до следующего запасного своего рубежа — села Успенское, которое мы должны были взять штурмом.

Наша артиллерия и авиация часовой обработкой немецкой обороны очистила для нашей атаки путь, но немцы, засевшие во второй оборонительной линии, встретили нас ураганным огнем, и наши танки сгорели от термитных снарядов или подорвались на противотанковых минах…

Немцы контратаковали. На одном из участков под Знаменкой нам пришлось в течение одного дня дважды выбивать немцев из одних и тех же окопов!

Когда отбили окопы в первый раз, обнаружили в одном из них молоденького фрица. Он сидит понурив голову, почти мальчик. Рыжий, в очках с толстыми-претолстыми стеклами — близорукость не менее минус шесть. Руки у него худенькие, пальцы тоненькие… Наши хлопцы, увидев такого «фрицика», сжалились, дали ему хлеба и кусочек сала. Фрицик аппетитно ел и лопотал что-то на своем немецком, и я улавливал одно понятное слово: «мьюзик… их бин мьюзик…» А вдобавок он показывал своими тонкими пальцами, как он играет на скрипке. Скрипач, значит, музыкант…

Немцы меж тем пошли в контратаку, и, несмотря на то что наши пулеметчики и автоматчики вели ураганный огонь, нам пришлось оставить эти окопы и отойти на прежние рубежи. А про пленного фрицика мы забыли…

Каково же было наше удивление, когда, отбив окопы во второй раз, мы увидели фрицика сидящим на прежнем месте! Мы ему:

— Гутен морген!

А он нам:

— Гутен таг! Гитлер капут! — лопочет. — Сталин гут! Русс камрад гут!

Теперь фрицик выглядел веселым и был очень подвижен. Жестикулируя руками, он убедительно просил нас: «Майн коммен русс генерапь… Шнель, шнель… Майн коммен русс генераль!..» Хочет, значит, что-то рассказать нашему командованию. Мы поспешно отправили его в штаб. А вечером этого же дня к нашему переднему краю подошли семь танков «Т-34», совсем новые, и мы увидели опять своего фрицика, который приехал в командирском танке. Танкисты с нами балагурить не стали, да и фрицик наш

только издали помахал рукой. А когда стемнело, танки ушли во вражеский тыл…

Всю ночь мы прислушивались и ждали. Наконец на рассвете услышали лязг гусениц и скоро увидели все семь наших «Т-34» — целыми и невредимыми, облепленными сверх брони странно-непривычными фигурами немецких солдат: в руках солдаты держали не автоматы, а футляры с музыкальными инструментами.

Когда я подошел к танкам вплотную, я отпрянул: вперемешку с грязью и проводами связи между катками гусениц были впрессованы человеческие волосы, кокарды со свастикой, погоны…

А немецкие солдаты — их по восемь-десять спрыгнуло с каждого танка — на губных гармошках играют нашу «Катюшу»… Чудеса, и только!

Я не художественную книгу пишу, где допустим вымысел, только пытаюсь внятно пересказать, что видел на фронте своими глазами. Причем это был ограниченной видимости «взгляд из окопа». Так вот, чтобы мне не соврать, я и тогда не понял до конца и сейчас не могу объяснить с гарантией «верно», что же это было. Могу только высказать свое предположение. Наверное, это была военная музыкальная команда, которую в дни тяжелых боев фашисты рассовали по окопам.

7 ноября гитлеровцы решили «поздравить» и нас с 26-летием Великого Октября. Утром в шесть часов внезапно на наш «передок» с диким, душераздирающим и разноголосым воем обрушился плотный артиллерийский и минометный огонь и вдобавок бомбы с воздуха. Сплошными черными столбами взметнулась к небу степная земля, которая от взрывов не может опуститься обратно, отчего будто бы вернулась ночь. Два часа длился смертельный танец огненно-черных сатанинских чудовищ над нами. Я задыхаюсь от удушливого дыма, из моих оглохших ушей течет кровь, от взрывов вибрируют в моей груди легкие… В темноте я вижу огненно-красные всполохи из воронок…

Когда немецкая артиллерия замолкла и прекратилась бомбежка, я понял только по тому, что прекратилось землетрясение и ослепило меня солнцем. Я высунулся из своей «щели» и увидел вокруг «лунный пейзаж» и дымящиеся воронки — кратеры. В первую минуту я страшно испугался, подумав, что остался живым только я, и тут же позавидовал мертвым…

Но еще через минуту я увидел живыми нескольких товарищей, которых я был готов всех расцеловать, как самых моих дорогих и родных. Но целоваться было некогда. Фрицы пошли на нас в атаку, послав впереди себя румынских,

венгерских, болгарских и югославских солдат. Мы, оставшиеся в живых, открыли из всех своих пулеметов и винтовок огонь. Передние ряды атакующих залегли и стали отползать. Так мы отбивали гитлеровские атаки в этот день трижды. Большинство наших пехотинцев в этот день погибли, не успев произвести из своих «трехлинеек» ни одного выстрела, но оставшиеся в живых рассчитались за них с лихвой, так как на «нейтралке» я увидел через свой «перископ-разведчик» сплошные трупы гитлеровцев…

До города Знаменки оставалось около двадцати километров. Фашисты принимали все меры, чтобы как можно дольше задержать нас.

Наши атаки захлебывались одна за другой. Очень многие погибли в эти дни, а к городу Знаменке никак не можем подойти. В нашем батальоне мы несем потери командиров рот. Как комсорг батальона, я каждый день подменяю их до прихода вновь назначаемых из полкового резерва…

Было ощущение, что за этот год на войне погибли все наши мужчины и парни. Если с середины октября до начала ноября 1943 года в нашей дивизии преобладали призванные в армию из Полтавщины, то к концу ноября полтавчан — наших «кукурузников» — оставались в строю десятки и единицы. Война пожирала людей беспощадно и безжалостно. В ротах насчитывалось всегда по пятнадцать-двадцать человек вместо ста — ста двадцати. Пополнение подходило почти еженощно, но к полудню следующего дня оставалась опять горсточка людей в каждой роте… Поневоле начнешь думать, что ты и в самом деле остаешься живым пока что один…

… В день моего ранения я, как ни странно, знал, что буду ранен и с самого утра 28 ноября 1943 года я готовился. Подобрал брошенный каким-то немцем ранец, откуда я под предлогом — «В госпитале пригодится!» — достал и положил в свой вещмешок немецкий бритвенный прибор в специальной пластмассовой компактной красивой коробке, толстую пачку чистой бумаги и «вечное» перо, заправленное чернилами, которое при опрокидывании показывает голую женщину…

Мы дважды ходили в атаку и дважды были отброшены назад. При перебежке меня обстрелял пулемет, причем так близко, что я разглядел злое лицо фрица и упал от удара по моей левой пятке, от чего она одеревенела. «Ранен?! Надо сползти в воронку и там отсидеться». Разуваюсь. Разглядываю развороченный задник сапога, а моя пятка целая! Обул сапог и выскочил, чтоб догнать своих! К середине дня в ротах осталось по пять-семь стрелков и автоматчиков. Фашисты заметили нашу малочисленность и решили контратаковать, но сначала открыли артогонь. Били

точно. На моих глазах взрывом срезало бруствер КП нашего батальона, и показалось, что комбат гвардии капитан Картошенко Николай Михайлович погиб. Я кинулся по траншее на высотку КП. Комбат был жив, но ничего не слышал — контузило.

С командного пункта, конечно, несравнимо четче просматриваются позиции, чем из окопа. Комбат продолжает кричать связисту, тот передает по телефону и слушает, что отвечают из штаба полка, а я с высотки обозреваю картину военных действий… И вдруг замечаю фашистских автоматчиков, которые под прикрытием своего артогня перебежками продвигаются поближе к нашим траншеям еще до начала настоящей атаки, чтоб, значит, захватить нас врасплох, как только кончится артналет. А наши хлопцы из-за ураганного артогня, естественно, и головы не высовывают из траншей… Я показал комбату на пробирающихся фашистов-автоматчиков и побежал по траншеям предупредить наших об опасности.

Роты открыли огонь по автоматчикам, мы начали бросать гранаты, и немцы пока залегли. Я по связи попросил передать комбату, чтоб он срочно затребовал патроны и гранаты, которые у нас на исходе.

Связист мне сказал по телефону, что боеприпасы и подкрепление к нам посланы и нам до их прибытия надо продержаться еще минут двадцать-тридцать. В штабе полка в тот день были мобилизованы нам на выручку все работники — каждый штабной работник нес на себе ящик с патронами и гранатами.

Двадцать-тридцать минут… Много. Кажется, впервые я желал, чтобы артиллерийская подготовка вражеской атаки длилась подольше…

Фашистские автоматчики еще продвинулись, они теперь на самом краешке зоны артиллерийской бомбежки. А стрелять уже нечем. Ищу глазами, где найти хоть один патрон, чтобы снять офицера, который высунулся из воронки и машет, машет своим солдатам, маня их к себе… Позади окопа я увидел винтовку с открытым затвором, в магазине — патрон. Хотел выскочить, смотрю, лейтенант Яковлев Иван, опередив меня, ползет к той же винтовке. Отвернулся и замечаю, что офицер уже переместился в другую воронку — еще ближе к нам. Да чем же его снять-то?! Опять оглянулся туда, где лежала винтовка, и вижу убитого лейтенанта… Выскочил к винтовке, схватил — и скатился в свой окоп.

Теперь я вооружен, бойко высовываюсь наружу. Офицер опять машет своим. Прицеливаюсь и стреляю — он обмяк и свалился в воронку, а его солдаты тут же раздумали подниматься.

В винтовке оказался еще один патрон, «Наверное, это действительно последний», — подумал я, хорошо понимая, что это значит.

В кукурузе спиной ко мне маячит фигура немца, он стоит на одном колене, вертит головой и нервно жестикулирует. Тоже, видать, не рядовой. Для этого и последний свой патрон я не пожалею. Беру его на мушку и стреляю…

Я еще не знаю в ту минуту, что это мой последний выстрел на войне. Не знаю, что для меня, минометчика, пребывание на четырех действующих фронтах Великой Отечественной вместится в промежуток между двумя выстрелами из винтовки. Что, как и первый свой выстрел, под Клетской, 6 ноября 1942 года, так и последний, под Знаменкой, 28 ноября 1943 года, я сделаю не из миномета, а из самозарядной винтовки «СВТ»…

Черная фигура гитлеровца, стоявшего на коленях, покачнулась и свалилась ничком вперед, подмяв сухие кукурузные стебли.

Сейчас артподготовка кончится, и фашисты рванутся к нашим траншеям. Сидеть в окопе безоружному — самоубийство… Где же посланное подкрепление?!

А подкрепление уже пришло. Вижу штабного писаря старшину Носова, который бежит в мою сторону с ящиком на плече. Этот старшина всегда был неотлучно при комиссаре Егорове. Кадровый военный, он в нужную минуту мог заменить и пулеметчика, и бронебойщика, и связиста, и сапера — хорошо знал военную технику. А кроме того, у старшины Носова было высшее юридическое образование и опыт партийной работы. Он умел безукоризненно оформлять документацию. Именно старшина Носов по поручению комиссара ввел меня в курс моих обязанностей комсорга четыре месяца назад… Хорошо бежит наш полковой писарь… А главное, вовремя!.. Машу ему, он меня не замечает. Я выскочил и бросаюсь к нему по открытой местности, чтоб перехватить себе боекомплект…

В этот момент сзади со страшным треском разрывается снаряд. Чувствую, что меня поднимает в воздух и отбрасывает в одну сторону, а мою левую ногу — в другую! Причем я понял так, что ногу мне оторвало с корнем, у самого живота, вместе с ягодицей… Пока падал, мелькало в голове разрозненное: «Даже жгута не наложишь… Не осталось от ноги ни сантиметра… Потеряю много крови, и конец… Кишки и те не будут держаться… Лучше бы убило… Эх, Мансур, Мансур, и ранило-то тебя не по-человечески…» Едва приземлился, щупаю — нога на месте! Бедро скользкое, в крови, но на месте!!! Что за дьявольщина, почему же я свою ногу не чувствую?!

Оказывается, осколком снаряда перебило мне левый седалищный нерв. Это я узнал сам, только много позднее, в госпитале: что у людей имеются седалищные нервы, что поврежденные нервы перестают работать, и тогда нога висит как тряпка…

А пока я лежу на земле возле огромной дымящейся воронки, в которую можно опустить и спрятать походную кухню, и мысль занимает меня пока одна — как бы мне, если не отобьем эту атаку, не оказаться у немцев в тылу.

Тело само пришло в движение — пополз, волоча за собой мертвую ногу с полным сапогом крови. Нога тяжелая. Невольно вспомнился солдат под Сталинградом, который сам отрезал свою ногу, как лишний груз… Но мне пока не столько больно, сколько страшно, как бы не угодить в плен к немцам…

Но, на мое счастье, я увидел, как на «своих двоих», словно сохатый, бежит мимо мой друг лейтенант Алексей Тарасов.

Я его окликнул, и он с размаху упал возле меня. У него перебита осколком левая кисть. «Что?! Куда?! В ногу?! Давай поднимайся. Нам хватит на двоих три ноги! Скорей надо сматываться, пока живые!..» Так на трех ногах мы бежим между взрывами дальше и дальше. Сапог с моей левой ноги потерялся, и я даже не заметил, где и когда это произошло. Нога не чувствовала совсем. Добежали до «мертвой зоны» и, немного отдохнув, бежим к дороге. «Там нас подберут машины или конные повозки».

Моя левая штанина мокрая и липкая. Надо бы остановить кровь жгутом, но это невозможно было сделать. Если до санитарного батальона доберемся не скоро, то от потери крови я совсем ослабну. Вот и дорога. Я прилег, а Тарасов стоит на дороге. Прислушиваемся. Мы уже потеряли всякую надежду.

Тарасов успокаивает меня: «Ты не волнуйся. Не брошу я тебя». Наконец слышу фырканье лошадей и скрип груженой повозки. Кони остановились перед Тарасовым, и я уловил знакомый голос ездового Моисеева, с которым мы переправлялись через Ворсклу. Ездовой тоже узнал меня, и мы обнялись, как родные…

Почти невероятно, но судьба опять меня свела с этим человеком, и опять мне помогает спастись лошадь. Моисеев разгрузил свою повозку, толстым слоем набросал в нее пшеничной соломы, мы с Тарасовым легли на эту постель, и наша повозка резво помчалась к Днепру. Подъехали затемно. Через понтонный мост движение было односторонним — с левого на правый берег. А обратно переправляли только раненых на лодках и катерах. Здесь мы простились с Моисеевым, и больше я его

никогда не видел. На левом берегу нас ожидали грузовые автомашины с соломенной подстилкой в кузовах. Шоферы торопились до рассвета загрузиться и уехать как можно дальше от Днепра, так как днем фашисты начинали бомбить…

Наконец наша машина, выехав на дорогу, понеслась на восток. Дорога вся разбита, воронка на воронке. А машина несется, не сбавляя скорости. Шофер торопится умчаться как можно дальше, дальше от бомбежек, от войны… Мы в кузове гремим как дрова, но терпим. Нам уже не страшна эта сумасшедшая тряска, лишь бы скорее добраться до санбата… Шофер сделал короткую остановку и заглянул к нам:

— Терпите, братишки. Я знаю, что вам в кузове плохо. Но надо до рассвета уехать от Днепра на сто — сто пятьдесят километров. Терпите ради своего же спасения.

И опять рванулась машина, прыгая и виляя…

Подъехали к санбату. Возле огромной палатки лежали и сидели сотни раненых в ожидании операции. Нас погрузили на носилки, положили на твердую землю. Шофер попрощался, он должен был теперь загрузиться снарядами, патронами — и опять обратно к Днепру… Медсестра, осмотрев меня, быстренько приказала мордастым санитарам, чтобы они меня тащили на носилках на операционный стол. Меня насторожило, как на других столах раненые орут благим матом. Хирург объявил, что наркоза не будет. Всех оперируют «на живое»… Хирург стоял передо мной в белом халате, забрызганном кровью. Капли крови и на шапочке, и на маске, и на груди. Сильные его руки были похожи на руки шахтера или артиллериста. Меня уложили на операционный стол вниз животом и быстро примотали к столу бинтами руки и ноги. Хирург меня успокоил тем, что ягодица, где он будет делать операцию, такое место у человека, которое не требует от хирурга никакой осторожности. И это место можно резать без всякой опаски для жизни.

— Будет больно, но не смертельно. Лежи спокойно и не мешай мне работать! Понял?

Я лежу и думаю, что действительно хирург прав: ну, что это такое, ягодица? Мягкое место человека… А сам поглубже прячу голову в кучу ваты — если буду орать, то в вату…

Казалось, что хирург не резал, а тянул и рвал на части мое тело, чтоб достать глубоко сидевший осколок… Орал я сильно. До хрипоты, как бывало сотни раз, когда мы броском ходили в атаку. Там орали, чтоб подавить свой собственный страх и чтоб испугать фрицев. Когда орешь благим матом, делаешься сам смелей и страшней перед врагом… А теперь я орал, чтоб заглушить жуткую боль в теле, которое разваливает ножом

хирург…

А хирург не мешал мне орать. Ему важнее, что я не прыгаю на операционном столе. А мой оглушительный рев ему не мешал… На войне все понимают друг друга без слов.

Жгучая боль стала общей и ровной. Потом прогремел упавший в таз осколок. Потом комариные укусы иглы. Потом перевязка широким бинтом. Это уже не хирург. Девичьи руки я почувствовал всеми нервами моего обиженного болью тела, уловил доброе прикосновение пальцев, неизвестно кому принадлежавших. И только мое воображение рисовало божественный образ белокурой красавицы… Я не мог видеть ее, потому что лежал лицом вниз. И на носилках лежал подобным образом и поэтому не увидел ту, которая прикоснулась первой к моему сердцу…

Утром нас погрузили опять в кузов грузовика и переправили в полевой госпиталь — в районное село Новые Санжары.

Не помню я номера эвакогоспиталя в Новых Санжарах между Полтавой и Кременчугом. А помню первую баню. Баню организовали с помощью местных жителей — стариков, женщин и детей. Все мало-мальски трудоспособные новосанжарцы пришли помочь медицинским работникам госпиталя в этой сложной и очень трудоемкой работе — помыть окопных солдат с тяжелыми ранениями.

Все поступающие сюда солдаты — очень грязные, обросшие. Тут их отмоют, подстригут, и будет солдат как грудной младенец — чистенький, обласканный, накормленный.

Баня эта совсем не баня, а какая-то контора или начальная школа. Носят беспрерывно люди воду откуда-то. Из Ворсклы?.. Молодые и сильные — на коромыслах, целой вереницей, как муравьи. Во дворе над огромными кострами в огромных котлах и в железных бочках греется вода. Горячую воду заносят в помещение, где топятся железные печки, чтоб обогреть воздух. Всюду комната уставлена столами, лавками, топчанами, застелена белыми простынями, а на них лежат раненые солдаты — голые, в чем мать родила…

Вокруг солдат суетятся деловито женщины, старики, девушки, которые ловко намыливают солдатское тело огромными мочалками и трут, и трут без всякого стеснения. А солдат лежит, блаженствует, хоть и болит его рана, хоть и торчит, как пень, культя его ноги… Солдату и щекотно и больно. Солдат не знает, на что ему реагировать: или на боль, или на щекотку от мочалки и от женских рук… Бабы торопятся — моют, полоскают, опять мылят — надо скорей управиться с этой работой, но солдаты просят со слезами, чтоб их еще и еще мылили. Тела соскучились

по мылу, по воде, по бане. Вот счастье-то, а? Хоть и ноги нет, а солдат счастлив, как ребенок, в бане этой.

Солдаты пялят глаза на женщин-мойщиц. Сколько уже лет некоторые не видели женских лиц! Мойщицы солдатам намыливают сначала головы, чтоб не пялили они свои жадные и просящие очи на них. Но солдат, претерпевая разъедающее вонючее мыло, все равно широко открытыми глазами разглядывает женскую фигуру.

А бабы хлоп мыльной пеной по глазам: «Шоб нэ бачив!» Мотнет солдат головой, пену сбросит и опять пялит свои очи…

Милые вы женщины, какие вы тогда были для нас красивые и родные в той бане в Новых Санжарах! Не было среди вас тогда некрасивых. Все красивые! Все до единой! На вас были надеты белые халаты. Сквозь тоненькую намокшую ткань было видно ваше прекрасное тело. Такой красоты я нигде не встречал ни до этого, ни после. Заявляю: в Новых Санжарах жили и живут самые красивые женщины!.. А вы намыливали нам глаза, чтоб мы «нэ бачилы»!

Я в той бане лежал на лавке лицом вниз и мог «бачить» у женщин-мойщиц только босые ступни ног. Я любовался и босыми ступнями, а остальное мог видеть только благодаря своему воображению.

Вот ступни ног молодой женщины. Они похожи на ступни ребенка… А вот уже немного деформированные от ходьбы. Этой женщине лет тридцать. Но какая она сама? Очень хорошая, наверное… Вот девушка моего возраста… Эх, посмотреть бы на нее!..

Но не могу ее увидеть, лежа на животе. Не везет мне всю жизнь. Ранило — и то не по-путевому! Лежи и рассматривай половицы…

Вон рядом на топчане лежит кверху лицом солдат. Ему хорошо! Он разглядел всех женщин и лежит улыбается, довольнехонек! Ему и мылом не смогли замазать глазищи. Он говорит, что мыла он не боится, что мыло на его очи не действует.

И почему-то около него одни старушки-мойщицы. Девушки и молодые женщины разбежались. Разбежались и хохочут визгливо и радостно! А солдат во весь рот улыбается. Красив солдат, и лет ему под сорок. Ноги только нет одной, и рука забинтована… А он счастлив, что живой, что женщины разбежались от него.

А старушкам что? Старушки рады, что бог все же есть: оставил ядреного мужика для разводу человечества крепкого.

— Миленький ты наш солдатик! Родненький ты наш батюшка! — причитают они.

А солдат не горюет, что разбежались молодухи: «Это они сейчас убегли! Вот заживут мои раны — прибегут! Сами прибегут».

Улыбается солдат. Жизнь продолжается!

Я лежу и думаю…

…Помыли меня, ополоскали. Надели чистое белье, рубашку и кальсоны. Понесли в корпус госпиталя — в офицерскую палату, потому что недавно мне присвоено звание «младший лейтенант».

После бани я уснул мертвым сном, утонув в блаженстве, подобного которому никогда больше не испытывал.

Спал более суток. Потом проснулся от голода. Поел и опять уснул. Первые две недели я только спал и даже снов не видел.

Когда я выспался досыта, стал учиться ходить на костылях — искать по палатам и корпусам своих ребят из полка и батальона.

Увидел меня первым наш пулеметчик Василий Шамрай и заорал радостно и громко:

— Комсорг! Наш комсорг! Чуете, хлопцы, цэ наш комсорг! Ей-бо, наш комсорг!

Нацепил на свою нательную рубашку три боевых ордена напоказ всем и героем вертится на своей кровати. Худой, но горластый.

Я каждый день приходил к своему другу Васе Шамраю, так как он был без ноги.

Показывая на меня, Шамрай Вася говорил своим друзьям по палате:

— Спытайтэ у нашого комсорга про остров смэрти! Хай вин сам расскаже, колы мэни не вирытэ.

Шамрай Вася горевал только об одном — что «нэма писателя, щоб пропысать правду про «остров смэрти». Я ему в утешение мог сказать только, что кто-нибудь напишет после войны и про наш остров, и про другие жестокие сражения…

…Через тридцать пять лет после Победы мы встретимся с Шамраем Василием Кузьмичом, и он спросит меня:

— А напысав хто-нэбудь про «остров смэрти»?

— Нет, — отвечу я, — никто не написал.

Я и сам долго буду выжидать, надеясь, что кто-нибудь из наших однополчан напишет… Знал я одного нашего минометчика батальонных минометов Барташевича Эдуарда из Омска. Вот он мог бы, наверное, написать книгу про всех нас… Но он погиб.

Я и сам буду думать — вот бы на моем месте писателю!.. Сколько материала!.. Вижу вокруг себя много удивительного: и плохого-удивительного, и хорошего-удивительно-го, вижу много красоты несказанной… Пережил и перечувствовал многое: и войну, и шахту. Все перепробовал. И любил! И был любим! Меня

распирает от полученных впечатлений, о которых никто не знает, кроме меня… Хочется передать их настоящему писателю, чтоб он написал про нас. Но, работая после войны, как и до войны, в шахтах, на рудниках, я ни разу на своем жизненном пути не встретил писателя. Так, чтобы с глазу на глаз… да знать бы, что ему интересно будет все это слушать, как про себя самого, начиная от первого выстрела под Клетской и кончая госпиталями, которые тоже есть неотъемлемая сторона войны…

А мой друг Шамрай Вася — Василий Кузьмич — при новой нашей встрече в Кременчуге в декабре 1981 года опять свое:

— Нэ напысав ще хто?

Я догадывался, о чем он говорит… Но я не смел ему выдать свой секрет, что я начал писать книгу про нас — гвардейцев. Потому что еще неизвестно, получится ли. Кот с колокольчиком не сможет поймать самую глупую мышь. Преждевременным звоном я боюсь спугнуть, сглазить свою мечту… Поздно хватился. Тороплюсь. С памятью пока неплохо. Кстати, странная это вещь, память, избирательная. «Картинку», например, помнишь до подробностей, звуки помнишь, запахи и, что интересно, мысли, которые в тот миг думались, помнишь… А название места забыл! Или неправильно его произносишь. Или дата не та… Вот и ползаешь по самой подробной карте, пишешь друзьям, чтобы они вспомнили… Ну в конце концов все-таки все восстановишь, где и когда было, точно. С этим справляюсь. Но вот что тяжелей: ведь все, о чем я пишу, мне надо пережить заново, и у меня от этого «заново» стало побаливать сердце. Успею ли дописать эту книгу до конца? Успеет ли ее прочитать Шамрай Вася?. Он мне тоже жаловался на сердце: «Як шилом колэ наскрозь!»

В Новых Санжарах в полевом госпитале я пробыл недолго — месяц. Мой седалищный нерв не восстанавливался, нога продолжала бездействовать, и санитарный поезд помчал меня в стационарный госпиталь в Павлово-на-Оке…

Павлово-на-Оке — это уже глубокий наш тыл. Меня поместили в палату, где стояло семнадцать кроватей. Одна из них ждала меня. Бывший хозяин этой кровати скончался во время тяжелой операции. Я хоть и не чужд был суеверия, но на все случаи жизни у меня были свои суждения. На этот случай я сказал себе: «В одну воронку два снаряда подряд не попадают». А еще я был уверен, что от моей раны умереть невозможно, только если уж очень постараться.

Моя койка угловая. Рядом со мной лежит азербайджанец Яролиев, у него ранение в колено.

Из моей дивизии в палате двое, но я их не знал. Еще один из 13-й дивизии нашего 32-го корпуса, но его ранило до операции на

«острове смерти», моего друга Сашку Колесникова он тоже не знал. Про остров тот я рассказывал в палате несколько раз, и после моего рассказа всегда все долго молчали.

Жили мы в палате дружной семьей, помогали друг другу во всем. Кормили с ложечки, если надо, «утку» подавали, учили ходить… Много вспоминали. И не только про войну. Бывало, медсестры испуганно влетали в нашу палату на шум, загорались пламенем и вылетали обратно… Меня перевязывала медсестра Алла. Волосы огненно-рыжие, большие голубые глаза с ресницами-бабочками. И золотые хлопья веснушек поверх румянца на белой коже… Руки гладкие, белые и тоже в веснушках. Она знала, что у меня постоянно сползает повязка. Сама утром и вечером подойдет к моей кровати, снимет с моей спины одеяло. Я затылком своим вижу ее красивое лицо и боюсь, что вот сейчас она догадается об этом, испугается и уйдет, не сделав мне перевязку. Я замираю. Но сердце мое гулко бьет, как тяжелым молотом… А Алла, не обращая внимания ни на что, неторопливо заканчивает перевязку. Потом укрывает мою спину одеялом и отходит совсем неслышно.

Я лежу после такой процедуры, не смея поднять мою пылающую и тяжелую голову.

Через полчаса повернусь на бок. И вижу Яролиева, который мне шепчет:

— Я бы на твоем месте, Мансур, моментально умирал бы. А ты живой. Зачем ты такой крепкий? Она самая красивая и самая нежная девушка. Она тебя любит!

Все мне в палате завидовали, что Алла заботится обо мне больше, чем о других. А я не смел смотреть ей в глаза. А виновата во всем моя рана, которая на таком месте.

Была бы моя рана на руке или хоть на самой ноге. Или бы на голове. Конечно, мне было стыдно, что я такой недотрога.

Я боялся девичьих глаз, а меня тянуло к ним так сильно, что я в отчаянии плакал. Сколько тайных слез пролил тогда, в той палате, уткнувшись в подушку лицом!..

А тут новая забота. У меня открылась зажившая рана. Оказалось, еще один осколок. И через несколько дней Алла повезла меня на каталке в операционную.

Хирург оценивающим взглядом посмотрел на мою шахтерскую фигуру и сказал:

— Подготовить для спинно-мозговой анестезии!

Медсестры попросили меня согнуться как можно ниже. Еще ниже, еще ниже! Я согнулся в дугу, дальше некуда. Они, орудуя бинтами, зафиксировали меня в таком положении и вдобавок придавили своими телами, ласково уговаривая не дергаться. Мне

трудно сидеть в таком согнутом положении, и я хотел бы распрямиться на минутку, но хитрые эти женщины! Их ласковые слова: «Терпи, миленький… Терпи, дорогой… Тебе же лучше делаем…» — действительно успокаивали меня, и я был согласен терпеть что угодно. Алла тоже рядом, вижу край ее халата, руку, в которую я вцепился мертвой хваткой. Она, бедная, терпит…

С хрустом проткнули мне спину между разошедшимися позвонками иглой-пикой, и нижняя часть тела онемела.

Вспомнил, как мне в санбате вытаскивали осколок «на живое»… И я не знал и не мог понять, где мне было легче: тогда или теперь? Но теперь не слышал боли. А спинномозговой укол был очень трудноперенос имый…

Того первого осколка в санбате я не видел, а этот показался мне небольшим. Наверное, за счет этого и проник глубоко в тело. Я разглядывал его — маленький осколок от железного изделия под названием «снаряд». Подумать только: он для того и был изобретен и изготовлен на заводе, он для того и был предназначен, чтоб вонзиться в человеческое тело. И умные, цивилизованные люди ломали голову: как его сконструировать, чтобы он вонзился поглубже… Да, миллионы лет назад мы, люди, жили в пещерах и ели сырое мясо диких животных. Мы сейчас сильно отличаемся от тех, пещерных. А еще через миллионы лет мы так же сильно будем отличаться от нас теперешних. Это говорил солдатам в последний день своей жизни наш парторг батальона гвардии старший лейтенант Васильев Петр Васильевич. Наверное, он верил, что отличаться мы от себя теперешних будем в хорошую сторону. С этой верой и погиб от такого вот кусочка железа, специально изготовленного человеческими руками…

Наш госпиталь посещали один раз в неделю шефы — жители Павлова-на-Оке. Женщины и дети. Шефы делились с нами своими редкими радостями и очень частыми горестями. У них погибали на фронте или вот так же лежали в госпитале в другом городе их отцы, мужья, сыновья. Шефы горевали, и мы вместе с ними. Они нам приносили какое-нибудь угощение, зная, что и их отцов, мужей, сыновей так же навестят в другом городе. И самодеятельными концертами они нас баловали.

Из наших хлопцев, которых по инвалидности увольняли из армии, многие остались жить и работать в Павлове… Город был небольшой, опрятный, мастеровой. Работы много. Оставались, женились и были счастливы.

Однажды среди шефов я увидел девушку. У меня внутри все оборвалось и перевернулось. Пока она была в нашей палате, ее глаза несколько раз останавливались на мне. Я смотрел на нее и своими глазами говорил ей, что я всю жизнь искал ее. Она меня

поняла и отвечала примерно тем же. Я был уверен, что она подойдет ко мне если не сегодня, то в следующий раз обязательно.

А поздним вечером в нашей палате разгорелся сыр-бор. Оказывается, эта девушка с пшеничными волосами задела всех. Говорили, что у нее глаза еще голубее, чем у нашей Аллы. Говорили, какая у нее необыкновенно белая кожа. Гладкая, но не блестящая, а матовая, нежная… Я молча ревновал к этим разговорам, лежал и терзался. Передо мной стояли два лица: Аллы и этой девушки-шефа. Кого из них мне выбрать? Обеих люблю! Сердце мое колотится тревожно и разрывается пополам… Горе ко мне пришло совершенно неожиданное!

Немного приостыл я только потому, что я им еще не признавался в своей любви. Может быть, я им вовсе и не нравлюсь, а я уже не знаю, какую выбрать! «Дурак ты, Мансур!» — на этом я успокоился, но уснул только под утро.

Алла пришла в нашу палату утром хмурая. Измерила всем температуру, записала и ушла, даже не посмотрев на меня. Потом еще раз пришла и поправила чуть-чуть мне бинт. Хотела уже уйти, но все же не удержалась и сообщила, что одна девушка из шефов спрашивала, кто я такой, откуда и не женат ли.

Алла смотрела на меня в упор. Вопросительно смотрела. А я отвел глаза… Она тихо ушла.

Мне стало дурно — до тошноты. За что же на меня тут, в глубоком тылу, на чистой кровати, навалились такие муки и казни?! Все мои внутренности горят от переживаний. Хуже, чем на фронте! Зачем же это сначала вошла в меня Алла, а потом эта девушка? Почему не явилась ко мне сначала она?! И была бы она у меня одна-единственная, и уже не надо бы мне было больше никого…

И вот наконец, через неделю, снова день посещений. Шефы принесли нам соленых груздей, клюквы. Пришла девушка с пшеничными волосами и от самых дверей смотрит на меня! Не знаю, как себя вести теперь. Я ведь не могу расстаться с Аллой! Алла в тот вечер не дежурила, но присутствовала, никем не видимая, кроме меня одного. А девушка-шеф осторожно отстранила воображаемую мной Аллу и приближается ко мне. Алла растворилась и исчезла совсем.

— Мансур, здравствуй! Меня зовут Людмилой. Ты рад видеть меня?.. А я всю неделю думала о тебе… — Она волновалась и говорила, а я слушал и не верил своим ушам и только моргал поглупевшими глазами.

Людмила шепотом рассказывала мне о себе, о городе, об Оке… Моя голова кружилась… Я узнал, что Люда работает при

госпитале в интендантском отделе, что уже десять заявлений писала в горвоенкомат, чтоб отправили ее на фронт, но она должна закончить сначала курсы медсестер. Осталось учиться три месяца.

Я не хотел, чтобы она уходила. Я боялся потерять Людмилу с этой самой минуты! В палате у нас присмирели от такого неожиданного поворота дела: ее прочили кому угодно, но только не мне…

А меня ждала третья операция. Главный врач-женщина сама мне объяснила ее цель:

— Надо теперь сшить седалищный нерв, который перерезан осколком. Проводимости нерва пока не будет, но так положено.

И опять повезли меня в операционную. Везли меня и Алла, и Людмила. Людмила в операционную не вошла, а осталась в коридоре. Она моргнула мне на прощанье и улыбнулась. Алла от меня не отходила. И опять заныло в груди: которую же я люблю?..

Опять скрутили, согнули, навалились… На этот раз долго не могли попасть иглой в нужное место, и пришлось мне терпеть несколько уколов, пока наконец нижняя часть тела не онемела. Потом действие анестезии кончилось, а операция продолжалась… Орать я не мог: у изголовья Алла, за дверями Людмила, так что худо мне пришлось на этот раз. Всего на рану наложили пятьдесят швов. Людмила ждала меня в коридоре. Я из последних сил ей моргнул и показал большой палец: мол, все хорошо…

Она приходила ко мне в палату каждый день, практиковалась на мне. Накладывая мне повязку на руку, на ногу, на голову или грудную клетку, она смеялась, шутила, а я готов был круглые сутки исполнять роль манекена…

Я почувствовал, что между мной и моими друзьями подуло холодком.

— И ничего в Людмиле нет хорошего!

— Хозяйкой и матерью ей не бывать. Слишком красивая, с ней дом не построишь…

— Зря ты, Мансур, забиваешь себе голову Людмилой. Она годится в жены генералу. А ты кто? Пять минут как младший лейтенант…

Так рассуждали все, кроме моего соседа-азербайджанца.

Яролиев завидовал мне по-хорошему и гордился мной. Он приставлял к своему горбатому носу большой палец, а остальными, растопыренными, крутил и дразнил всех…

А один пожилой уже офицер, долго молчавший на все на это, сказал так:

— Я знал, что Людмила станет дружить с Мансуром. Женщины любят мужчин скромных и честных. А вы кто такие

сейчас? Пи-ки-ров-щи-ки! Охотники до любовных приключений!

Он очень насмешил всех нравоучительным тоном, и меня тоже. Я к этому времени уже понял, что хлопцы просто отходят душой после ужасов фронта. Что в рассказах «пикировщиков» больше озорного вымысла, чем правды, и, конечно, каждый в душе мечтает о единственной…

В госпитале я тоже, случалось, пел. А когда, бывало, нарисую девичий портрет, который так похож — и красивей чуть-чуть! — то следствием всего этого была влюбленность «до гроба».

В палате всем своим друзьям я нарисовал их портреты и тем уничтожил холодок, возникший в наших отношениях. Я прослыл среди них хорошим художником…

«Храни меня, мой талисман…» Каким-то непостижимым чутьем я угадывал, что моя судьба ждет меня дома. Я не знал еще имени этой судьбы, не знал, какие у нее глаза… но знал, что она где-то там… Единственная, которую я сразу узнаю, которую я ни с кем не спутаю…

По земле шел апрель 1944 года. За те пять месяцев, что я провалялся в госпиталях, наши войска полностью освободили Право-бережную Украину. Бои шли теперь за окончательное освобождение нашей Родины от гитлеровских захватчиков. Вот-вот погоним — и уже начинаем гнать! — врага на его собственную территорию!..

«Кто сейчас комсорг в нашем батальоне? — думал я с ревнивым чувством. — Кому после меня комиссар полка сказал эти обжигающие слова: «Жизнь комсорга длится в среднем от одной атаки и до двух-трех…» Жив ли сам комиссар?.. Кто еще остается живой из наших хлопцев?»

Рана на моей ягодице зажила, и медицинская комиссия признала меня годным для отправки на фронт. Но мне, бывшему добровольцу, уже не хотелось воевать — навоевался досыта и до рвоты! Принесли мне мое обмундирование: «Торопись! Через полчаса эшелон отправляется на фронт!»

И вот случилось невероятное: мой сосед по палате, тоже признанный «годным», пригласил майора — члена медвоенкомиссии к нам в палату и заявил: «У младшего лейтенанта перебит левый седалищный нерв, и он не годен к боевой службе. Прошу вас — проверьте». Майор приказал мне раздеться и, осмотрев, убедился в том, что моя нога отвисла как тряпка и не чувствует уколов. Так совсем незнакомый мне военврач спас меня от верной гибели, так как я уже был фактически без одной ноги, на которой не держался сапог. Но, когда СССР объявил войну Японии, меня, как годного к боевой службе, опять медкомиссия при райвоенкомате решила отправить

на войну как опытного фронтовика и боевого офицера. Мне было стыдно доказывать, что у меня нога хоть и целая, но мертвая. Я боялся, что мне, коммунисту, могут приписать трусость. Но одна пожилая женщина — врач-невропатолог — заявила авторитетной медкомиссии: «Я не позволю вам отправлять на войну этого инвалида с отвислой ногой!» Так я был еще раз спасен от смерти…

С того дня, как мы с Колей Коняевым, Иваном Ваншиным и Виктором Карповым добились «из-под брони» отправки на фронт и я уехал из Бричмуллы в Ташкентское пехотное, прошло почти два года… Да неужели всего два?! Кажется, что целую отдельную жизнь прожил. Отвоевал на четырех действующих фронтах… Сталинград… Курская дуга… Битва за Днепр… Левобережная Украина… Правобережная Украина…

Все чаще до подробностей вспоминался день, когда меня приняли в партию. Это было в студеном ноябре сорок второго, когда в заметаемых метелями сталинградских степях решалось: быть перелому в войне в пользу СССР или не быть. По траншеям из уст в уста пронеслась ошеломительная весть: на наш участок передовой прибыла бригада политработников, которая ведет прием в ряды ВКП(б). Все самое справедливое, самое светлое в жизни я связывал с партией. Такое знаменательное событие должно было — в моем воображении — обязательно происходить в каком-то чудесном здании, залитом солнцем. А тут — земляные норы на дне окопов, где мы, чумазые и обляпанные грязью, спасаемся от метелей и стужи в коротких перерывах между боями. Признаюсь, в первую минуту мелькнуло сожаление, что моей давней заветной мечте суждено осуществиться в такой неторжественной обстановке. Но, оказывается, политотдельцы учли этот психологический момент. Бригада из трех-четырех человек комсостава, писарей да фотографа, вооруженная, как и мы, автоматами, гранатами, пистолетами и каждоминутно готовая, как и мы, принять бой, делала все, чтобы создать для вступающих в партию окопных солдат приподнятое, праздничное настроение. Безукоризненно выбритые, подтянутые, они всем своим видом как бы говорили нам, что, несмотря на тяготы окопного быта, несмотря ни на что, вступление в партию осуществится для нас в максимально торжественной обстановке. В портфелях и полевых сумках они имеют все необходимое, чтобы в любом окопе тут же начать процедуру оформления. Деловито и без лишних слов заполняют наши анкеты. Берем из стопки чистые листы для заявлений. «А как писать?» — спрашиваем, уверенные, что и для заявлений существует определенная форма. Но политотдельцы говорят: «Пишите так, как подсказывает вам ваше

сердце». И вот каждый, отвернувшись от всех, задумался над своим листом. Сердце много чего подсказывает. Тут и гнев на захватчиков земли нашей, и боль воспоминания о вчерашнем бое, в котором погиб друг, и желание биться в первых рядах за освобождение Родины, а уж если погибнуть — то коммунистом! И страстная мечта о лучшем будущем для всего нашего многонационального советского народа… И все, что подсказывает солдату сердце, выливается, наконец, в четыре сокровенных слова: «Прошу принять в ряды ВКП(б)…» Так были, оказывается, написаны миллионы фронтовых заявлений. А солдату, написавшему эти слова, казалось, что он высказал ими все-все, что скопилось в душе…

Но есть во мне одно качество, с которым я мучаюсь, с которым я сам справиться не могу, — какая-то повышенная, что ли (а может, назвать ее болезненной?), совестливость. Мне даже после «острова смерти» на Днепре было совестно, что я остался живой там, где погибли почти все…

И еще одно. Интуитивно я уже тогда догадывался, что как бы ни сложилась моя жизнь в дальнейшем, с какими бы замечательными людьми ни свела, а такой человеческой дружбы, какая возникает на фронте под огнем, у меня уже не будет. Через много-много лет мы вдвоем с женой будем ехать, будем очень торопиться куда-то и увидим в безлюдном месте корову, которая только что отелилась. Теленок мокрый, у коровы еще не выпал послед, а кругом ни души. Мы, естественно, вернемся назад, чтобы сообщить животноводам об отелившейся корове. Окажется, что корову потеряли, ищут, станут нас горячо благодарить за находку, а один из животноводов скажет: «Не видите, что ли, «Запорожец». Хозяин — фронтовик. На «Жигулях» бы к нам не поехали за двадцать пять километров из-за коровы…» И мне будет приятно перед женой, что о нас, фронтовиках, в народе через столько лет сохраняется высокое мнение.

Это мнение справедливое. Сколько я замечаю, фронтовики на всю жизнь удержали что-то особенное в своей человеческой натуре, особенную отзывчивость, способность понимать обстоятельства другого человека как свои собственные.

Всю жизнь буду мечтать о встрече с Сашкой Колесниковым из 13-й гвардейской дивизии нашего 32-го гвардейского стрелкового корпуса. Я его спас, когда мы плыли через Днепр под артиллерийской бомбежкой, и без него бы я пропал на «острове смерти»… Жив ли он еще? Не знаю ведь ни отчества, ни места, ни точного года его рождения…

Я догадывался, что самые счастливые из нас будут те, которые вместе дойдут до самого конца войны, до самого Дня

Победы!.. А не отстанут где-то на полпути в санбатах и госпиталях…

В общем, я попросил госпитальное начальство, чтобы мне выписали билет через Москву.

В Москве стояли апрельские лужи, но главная весна меня ждала дома. Я махнул на Казанский вокзал, чтобы успеть на ташкентский пассажирский поезд.

На Ташкент поезда не было, и я сел в первый попавшийся — пока до Куйбышева…

Через сутки с небольшим я вошел в здание вокзала в Куйбышеве. Народу битком, Много детей, и все голодные. Я развязал свой вещмешок… Дети облепили меня, как голуби. Все худые — кожа да кости. Глаза большие. И что меня поразило — их десятки, а они терпеливо, без суеты, без давки, в очередь получают каждый свою порцию…

Словом, в ташкентский поезд я сел с пустым вещмешком, без единого продталона, и, если бы не пассажиры, которые угощали меня своим последним куском, худо бы мне пришлось трое суток до Ташкента.

В Ташкенте я пересел на еще один поезд — до города Чирчика, а дальше мне надо было добираться на попутных машинах до кишлака Бричмулла, который находится в верхнем течении Чаткала, у предгорий Чимчана и Тянь-Шаня… Отец перевез нас в этот кишлак с Алтая незадолго до войны, чтобы, как он говорил, «досыта накормить яблоками и виноградом». Там на руднике добывают мышьяковую руду. А выше по Чаткалуна горном руднике Саргардон добывали и вольфрамовую руду. Оттуда я уходил на фронт, там ждут меня мои родные — мать и двое братишек. Младшему — пять лет. Я заранее вижу, как он обрадуется: ну еще бы, старший брат с войны вернулся! Как он будет рассказывать потом на улице — на русском, на узбекском, на татарском и на таджикском языках, — какой у него герой старший брат Мансур… Что Мансур «убил сто или тысячу фашистов»…

…Я залез в кузов «ЗИСа», где полным-полно узбечек и таджичек. Мне уступили место у кабины. Я разглядываю пассажирок, а они меня. Любопытным узбечкам и таджичкам не терпится узнать, кто я такой, откуда, к кому с войны возвращается сын или брат.

— В Бричмуллу! — кричу я им любимое слово и начинаю говорить по-узбекски и по-татарски. У них от удивления взлетают черные брови:

— Вай! Да это же Мансур!

Узбечки и таджички, как сороки, наперебой стали вспоминать

меня, Колю Коняева, Виктора Карпова, Ваншина Ивана — четверых друзей, которым два года назад удалось «из-под брони» уйти на фронт… Наконец, наговорившись досыта, девчонки сообщили мне, что Николай Коняев получил отпуск, что сам генерал Черняховский отпустил его на месяц за выполнение какого-то очень важного задания и Коля сейчас гостит дома в Бричмулле.

Услышав такую новость, я обрадовался так сильно, что даже мне показалось, это не может быть правдой. Неужели через почти два года таких перипетий в нашей с ним жизни судьба подарит нам эту встречу?!

Не подарила.

Машина мчится, поднимая высоко шлейф дорожной пыли. Вот и Ходжикент проехали, вот и Чарвак позади… Выскочили на ровную террасу. А внизу бешено бурлит Чаткал…

Идет нам навстречу такой же «ЗИС», тоже набитый пассажирками в пестрых платьях, а среди них — фигура в военной летной форме. Да ведь это Коля!.. Машины на один миг поравнялись, и я, узнав Николая, кричу ему:

— Коля! Это я, Мансур!

Николай тоже увидел меня и тоже кричит мне что-то… Нас обоих стремительно увозят «ЗИСы» в противоположные стороны — меня в Бричмуллу, а его на войну… Хоть и пылью все заслонило, но мы долго махали друг другу, он — фуражкой, я — пилоткой…

Я больше никогда не увижу его. В мае сорок четвертого — я уже приступлю к работе на руднике — в семью Коняевых придет похоронка на Колю… А я в семье друга найду ту единственную, которую предчувствовала моя душа — мою Надежду… Но эта история для другой повести…

А пока я явлюсь в тот самый Бостандыкский райвоенкомат, где почти два года назад я стучал кулаками, требуя отправки на фронт, сяду, кажется, на тот же самый стул против того самого майора Галкина, и майор Галкин долго будет разглядывать меня с великим любопытством, пока наконец скажет:

— Ну, рассказывай!..

Эпилог

В 1944 году я неожиданно оказался в Красноярском крае на секретном руднике «Пя55» где развернулись работы по добыче и обогащению редкоземельного минерала моноцит, содержащего радиоактивный торий.

Добыча и обогащение были полностью механизированными по последнему слову техники и технологии. Я быстро освоил обогащение моноцита и возглавил одну из крупных обогатительных фабрик рудника.

Вернувшись домой и отдохнув десять дней, я вышел на работу. В связи с недокомплектом ИТР (инженерно-технических работников) я был назначен на должность горного мастера и взрывника. Права ведения взрывных работ на подземных и открытых работах я имел. Взрывные работы приходилось выполнять ежедневно и с большой нагрузкой. Работа взрывника очень опасная и требует от него постоянного внимания и осторожности. Однажды я в конце смены должен был спуститься в «бадье» в шурф, где произошел «отказ» в забое одного из двадцати шпуров.

Воротовщики спустили меня, и я осмотрел в рассечке забой. Определив, что отказал нижний — очистной шпур, я быстро обнаружил его. Причиной «отказа» явилось отсечение бикфордова шнура взрывом соседнего шпура. Убедившись, что этот «отказ» можно легко будет ликвидировать, я привычным способом при помощи спички зажег тот самый отсеченный бикфордов шнур. И тут же я вспомнил, что забыл из шурфа дать сигнал воротовщикам, чтобы они начали подъем бадьи. Я дергаю за провод, который соединен на поверхности с сигнальным «молотком» для того, чтобы я мог выехать «на-гора», но проволока оборвалась на середине шурфа и упала мне под ноги. Сигнал не получился, а воротовщики сидят в «бытовке» возле «буржуйки», спасаясь от тридцатиградусного мороза. «Рассечка» — горизонтальная выработка длиною всего пять метров. Если произойдет взрыв «отказа», я погибну! Мне бы только успеть подняться на три метра над «рассечкой», и я спасен! Я решил подняться по восьмимиллиметровому — тонкому тросу на три метра, но трос скользкий. Эх! Был бы трос веревочным! А бикфордов шнур горит со скоростью один сантиметр в секунду, его длина до капсул я-детонатора всего тридцать-сорок сантиметров!

«Ну, — подумал я, — на войне не погиб, а тут, в Сибири, — дома — мне конец?.» Я уже стал задыхаться от удушливого

порохового, смешанного с асфальтовым густого дыма, как вдруг бадья, в которой я стоял, пошла вверх. Тут я подумал только об одном: «очень медленно поднимается!..» Но опасность миновала, когда я оказался над «рассечкой», и если теперь взорвется «отказ», то я хоть и получу какую-то травму, но не смертельную! Бадья поднимается все выше и выше, и я, проклиная свою оплошность, радуюсь и ликую со слезами на глазах. Осталось до верха полтора метра, и раздался взрыв. Воздушной волной меня выстрелило из ствола шурфа, как мину из миномета… Оправившись от испуга и ушибов, я обратился к воротовщикам, которые перепугались сильнее меня «Вы слышали мой сигнал — вира?» Округлив глаза и переглянувшись, отвечают: «Нет». — «А как вы и почему начали поднимать бадью?» — «Дык ить ты вроде бы крикнул из шурфа — «В-и-и-р-а-а!» — и мы прибежали к шурфу и начали падымать тебя…»

Я хорошо помню, как я находился там, внизу, на глубине двадцати метров, и не кричал «вира», потому что был уверен, что воротовщики, находясь в землянке, все равно не услышали бы меня…

Утром следующего дня, когда забойщик очистил забой от породы, я его уговорил как можно громче крикнуть «вира». До хрипоты он кричал своим луженым голосом, но я, находясь в землянке и рядом с ней, не услышал! Не услышали его и воротовщики. Так что же это было вчера?!

* * *

…На горно-подготовительных работах горно-обогатительного участка земляные работы выполнялись зэками. Я как начальник участка никогда не конфликтовал с ними. И однажды в начале рабочего дня, когда привели бригаду зэков, нашим горным мастерам стало известно о том, что меня зэки проиграли и теперь мне опасно заходить в рабочую зону. Мне стало страшновато и обидно — «За что?». Я задумался перед выбором: или теперь никогда не заходить в рабочую зону зэков и уволиться с работы, или надо, как прежде, не обращая внимания на угрозы со стороны зэков, продолжать работу, рискуя своей жизнью, не показывая своего страха. Я знаю о том, что зэки нередко «забавляются» над вольнонаемным начальством, пугая их всякими «страшилками», в том числе и «проигрыванием». Но никто из нас, вольнонаемных, не может знать, когда зэки «забавляются», а когда и имеют самое серьезное намерение… А я, как бывший фронтовик, больше боялся оказаться объектом развлечения и проявлять трусость

перед зэками. Я пригласил к себе в кабинет старшего охранника, сержанта войск НКВД Козлова, и рассказал ему о том, что меня зэки проиграли, но я должен, как всегда, находиться в рабочей зоне и продолжать выполнение своих обязанностей контроля за качеством выполняемых ими работ… Я попросил его, чтобы он поставил в известность всех своих вооруженных автоматами охранников: держать меня под прицелом, когда я буду находиться в зоне. Через час я был в зоне среди зэков и, как всегда, выполнял свою работу, делая замечания, если «что не так». У каждого зэка со сроком «25 и 5» в руках кайло или кувалда, лом или топор… Я краем глаза поглядываю в сторону охраны на углах, готовой в любую секунду открыть огонь с четырех сторон. Вышел я из зоны с мокрой спиной, но живой. И только уселся я в свое кресло в кабинете, как на территории участка раздался звон ударов по подвешенным кускам рельсов, объявляющий тревогу. Я выбежал из конторки и вижу «картину преследования беглеца». Я догоняю охранника, который уже был готов применить оружие и убить беглеца, который должен был убить меня в зоне. Я остановил действия охранника и попросил у него оружие. Короткая очередь по ногам и беглец упал. Мы подошли к нему, и я стал накладывать жгут выше колена раненому зэку. Он и я поблагодарили друг друга за взаимное спасение жизни…

Алексей Исаев. Советская пехота в бою. Мансур Абдулин и его подразделение

В отличие от воинов древности большая часть солдат двух мировых войн шли в бой, защищенные только тканью шинели или гимнастерки. Но это не означало, что им не приходилось нести на себе в походе и в бою многие килограммы металла. Кольчуги и багинеты заменило коллективное оружие, некоторые образцы которого даже приходилось разбирать на части для переноски. Наиболее известным образцом такой ноши были станковые пулеметы. Бойцы несли на себе увесистые станки, собственно пулеметы, часто с массивным кожухом водяного охлаждения ствола. Даже без воды снятый со станка основной в Красной армии пулемет Максима весил 20,3 кг. Однако настоящими специалистами по поднятию тяжестей были расчеты батальонных минометов.

Как и танки, минометы явились порождением Первой мировой войны. Грозные боевые машины, ставшие символом войн XX столетия, начались с ромбовидных коробок. Минометы были сконструированы далеким от военного дела человеком, Вильфредом Стоксом, исполнительным директором компании по производству насосов, вентилей и газового оборудования. Их боеприпасами стали гранаты, сделанные без каких-либо аэродинамических ухищрений. Но минометы динамично развивались в межвоенный период. Их мины приобрели стабилизаторы, каплевидную форму корпуса, специальные взрыватели. В таком виде они стали важнейшим оружием пехотинцев Второй мировой войны. В Красной армии в 1942–1943 годах использовались три основных вида минометов: ротные, батальонные и полковые. Полковые минометы калибром 120 мм были исключительно удачным образцом оружия, скопированным немцами в 1943 г. Масса миномета была слишком велика для переноски людьми даже в разобранном состоянии, и поэтому он имел колесный ход для буксировки его лошадьми или автомашиной. Самым легким был 50-мм ротный миномет. Вьюк с этим минометом весил 14 кг. Однако и сам миномет был довольно слабым, его мина весила всего 922 грамма и несла 90 грамм взрывчатки. Промежуточным образцом, сочетавшим достаточное могущество мины с возможностью переноски пехотинцами, был батальонный 82-мм миномет, наводчиком

которого был М.Г. Абдулин. Он был сконструирован в СССР после изучения 81-мм минометов Стокса, захваченных в ходе приграничного инцидента с Китаем в 1929 г. Мина батальонного миномета весила 3,31 кг и несла 400 грамм взрывчатки. Взрыв мины давал 400–600 осколков, способных поразить всех, оказавшихся в радиусе 6 метров от разрыва. Дальность стрельбы миномета достигала 1100 м. Миномет был одним из средств, с помощью которого наступающие пехотинцы могли быстро реагировать на внезапно себя проявлявшие пулеметы противника. Насыщение армий автоматическим оружием привело к тому, что на отделение пехотинцев приходился один ручной пулемет, а в танковых войсках вермахта у мотопехоты даже два пулемета. Каждый такой пулемет мог остановить наступление роты или даже батальона. Остановить его стрекотание мог разрыв рядом с пулеметчиком 82-мм мины. В обороне миномет мог поражать залегшую, спрятавшуюся в лощинах и потому неуязвимую для огня пулеметов пехоту наступающего противника.

Вместе с тем небольшой в сравнении с пушками вес миномета был весьма ощутимым для тех, кому приходилось нести его на себе. Советский 82-мм миномет образца 1937 г. весил в боевом положении 56 кг и разбирался для переноски на три части: ствол, опорная плита и двунога. Вьюк со стволом весил 19 кг, двунога — 20 кг, а самым тяжелым был вьюк с плитой — 22 кг. Помимо самого миномета солдатам приходилось нести боеприпасы к нему. Лоток с тремя минами весил 12 кг, вьюк с двумя лотками — 26 кг. При этом нужно заметить, что вес вьюка прибавлялся к обычному для каждого солдата набору из личных вещей, банок консервов, противогаза, личного оружия и боеприпасов к нему. В зимнюю стужу и летний зной минометчики несли свои массивные вьюки в пеших маршах, достигавших десятков километров в день, ведь основную часть армий и Германии, и СССР составляли не танковые и моторизованные соединения, а перемещавшаяся пешком пехота.

Одним из таких пехотных соединений была 293-я стрелковая дивизия, в составе которой вступил в бой М.Г. Абдулин. Дивизия эта была сформирована в 1941 г. в городе Сумы, вступила в бой на Украине в страшном для СССР сентябре 1941 г., когда на Киев были развернуты от Москвы танки Гудериана. 40-я армия, в которую тогда включили 293-ю стрелковую дивизию, безуспешно пыталась сдержать немецкие танки. Тогда дивизии повезло, она оказалась вне образовавшегося «котла» и в дальнейшем отступала сначала через родной для себя город Сумы, а в ноябре через район Курска, где без соприкосновения с противником прошла место, ставшее в 1943 г. ареной жестоких танковых боев, —

Прохоровку. Зимой 1941/42 г. дивизия находилась на Курском направлении, практически не затронутом масштабными наступлениями советских войск под Ленинградом, Москвой и в районе Харькова. Весной 1942 г. дивизия переместилась в 21-ю армию, почти на год связав с ней свою судьбу и войдя вместе с армией в элиту Красной армии — гвардию. На спокойном участке фронта дивизия пересидела катастрофу под Харьковом в мае 1942 г. 30 июня, в начале операции «Блау», немецкого наступления на Волгу и Кавказ, по 21-й армии был нанесен сильный удар, в результате которого части четырех ее дивизий были окружены, однако 293-я чудом избежала окружения и разгрома. Армия переправилась через Дон и начала отступление на восток.

Советское высшее руководство всегда стремилось накапливать людские и материальные резервы, чтобы в решающий момент бросить их на чашу весов того или иного сражения. По директиве Ставки ВГК № 994131 от 29 июля 1942 г. из состава Сталинградского фронта для восстановления и доукомплектования в резерв были выведены шесть стрелковых дивизий, в том числе 293-я. На одной из сравнительно крупных узловых станций на Южном Урале, Бузулуке, дивизия проходила переформирование. Фактически она создавалась заново.

Что же из себя представляла дивизия, перед тем как вступить в бой в одном из решающих сражений Второй мировой войны, Сталинградской битвой? В ходе трехмесячной передышки 293-я дивизия была практически полностью укомплектована солдатами, сержантами и офицерами. Из полагавшихся по штату 10 868 человек к моменту завершения переформирования, 24 октября 1942 г., налицо было 10 420. Состав дивизии был своего рода отражением многонационального Советского Союза. Собственно русских в дивизии было менее половины, 4523 человека. Славян (русских, украинцев и белорусов) — 5748 человека, евреев — 269, представителей прибалтийских государств — трое, чеченцев — один. Остальную часть бойцов и командиров составляли различные народы Средней Азии, самой многочисленной группой среди которых были казахи — 2280 человек. В горнило войны в составе дивизии шли отнюдь не безусые юнцы. Моложе 23 лет были менее трети солдат и офицеров соединения. Самой многочисленной возрастной группой, составлявшей почти половину состава дивизии, были мужчины от 25 до 40 лет. Влияние коммунистов было не столь внушительным, как принято считать. Если две трети офицеров 293-й дивизии были членами коммунистической партии или комсомольцами, то среди солдат таких было менее 20 %. Ранее

участвовали в боях 418 офицеров, 574 сержанта и 716 рядовых. Если соотнести эти цифры с общей численностью солдат и офицеров дивизии, то боевой опыт имели 40 % офицеров, 23 % сержантов и менее 10 % рядовых. Огневая мощь дивизии Красной армии образца 1942 года существенно отличалась от таковой немецких пехотных дивизий. Еще в июле 1941 г. стрелковые дивизии Красной армии были максимально облегчены для упрощения управления ими. Артиллерия стрелковой дивизии была представлена одним артиллерийским полком, в котором было всего двенадцать легких 122-мм гаубиц и двадцать 76,2-мм дивизионных пушек. Для сравнения, в немецкой пехотной дивизии было тридцать шесть 105-мм легких гаубиц и двенадцать 150-мм тяжелых гаубиц. Разница эта объяснялась тем, что в соответствии с советской стратегией предусматривалась концентрация тяжелых орудий калибром 152-мм и выше в руках Верховного командования для использования на направлениях решающих ударов. Для борьбы с танками противника в состав дивизии входил 331-й истребительно-противотанковый дивизион, вооруженный двенадцатью 45-мм противотанковыми пушками и тридцатью шестью 14,5-мм противотанковыми ружьями. Основным транспортным средством соединения были лошади, но их не хватало. Из 1800 лошадей по штату не хватало 784. Автомашин было меньше сотни.

Главной ударной силой советской стрелковой дивизии были три стрелковых полка. Именно в составе стрелкового полка вступил в бой автор представленных мемуаров. Его 1034-й стрелковый полк на 10 ноября 1942 г. насчитывал 2130 человек из 2532 человек по штату. Вооружение полка составляли 1655 винтовок, 222 пистолета-пулемета «ППШ», 52 ручных пулемета, двадцать 7,62-мм станковых пулеметов «максим», два 12,7-мм крупнокалиберных зенитных пулемета, пятьдесят четыре 14,5-мм противотанковых ружья, четыре 76,2-мм полковые пушки, шесть 45-мм противотанковых пушек, шесть устройств для метания ампул с горючей смесью (для борьбы с танками), шесть 120-мм полковых минометов, двадцать семь 50-мм минометов и двадцать семь 82-мм батальонных миномета, в расчете одного из которых начал воевать М.Г. Абдулин. К моменту вступления в бой полк был укомплектован практически по штату.

В соприкосновение с противником 293-я стрелковая дивизия вступила в первых числах ноября 1942 г. Наиболее драматичным в первых боях соединения стал день 14 ноября, когда ей были поставлены наступательные задачи. М.Г. Абдулин описывает этот день как очень тяжелый бой, но необходимо учесть, что это был взгляд на сражение молодого солдата, ранее не участвовавшего в

боевых действиях. Собственно, 14 ноября 1034-й стрелковый полк, по отчетным документам дивизии, потерял убитыми и умершими от ран 8 офицеров, 27 сержантов и 71 солдата. Ранено или контужено было 15 офицеров, 39 сержантов, 223 солдата (ЦАМО РФ. Ф.1197. Оп. 1. Д.52. /1.83). Общие потери полка убитыми и ранеными составили около 20 % его первоначальной численности. Дивизия в целом потеряла с 10 по 20 ноября 1942 г. 1183 человека. Ее численность, которая на 10 ноября составляла 9274 человека, уменьшилась к 20 ноября до 8069 человек (там же, /1.86).

В соответствии с оперативными планами Верховного командования дивизии, как и всей 21-й армии, досталась неблагодарная задача образования внутреннего фронта кольца окружения, с целью недопущения прорыва блокированных в Сталинграде немецких войск. В тяжелых боях с противником, среди которого были такие ветераны Восточного фронта, как 14-я и 16-я танковые дивизии, практически не получая пополнения, численный состав дивизии таял. На 1 декабря 1942 г. в дивизии было уже 6113 человек, на 10 декабря 1942 г. — 4142 человека, на 20 декабря с учетом более чем 500 человек пополнения — 3797 человек. Фактически с начала боев 2/3 солдат и офицеров соединения были убиты или ранены. Наиболее драматичным был период с 1 по 10 декабря 1942 г., когда противник предпринял попытки прорвать кольцо окружения. 21-я армия, стоявшая на западной окраине «котла», ближе всего к внешнему обводу окружения, приняла на себя основной удар. 293-я стрелковая дивизия в эти десять дней потеряла почти треть своей численности убитыми и ранеными, 2101 человека.

Всего за десять дней безвозвратно было потеряно 60 офицеров, 140 сержантов и 315 рядовых убитыми и умершими от ран, а также 8 сержантов и 39 солдат пропавшими без вести.

Под Сталинградом советскому командованию впервые удалось осуществить крупномасштабное окружение противника. 21-я армия в целом и 293-я стрелковая дивизия в частности обеспечили важную часть этой операции, удержание в «котле» подвижных соединений немцев. Эти действия получили высокую оценку командования. И 293-я дивизия, и 21-я армия по окончании Сталинградской битвы получили наименование «Гвардейская», войдя в элиту КА. Гвардейские части Красной армии имели собственную нумерацию, и, после вручения Гвардейского знамени, дивизия стала именоваться 66-й гвардейской стрелковой дивизией. Вместе с дивизией получали новые номера и подчиненные ей части. 1034-й стрелковый полк, в котором начал воевать М.Г. Абдулин, был преобразован в 193-й

гвардейский. Внешним отличительным признаком гвардии были специальные значки, напоминавшие орден, которые крепились на униформу и рисовались на технике соединений. Тем самым солдаты-гвардейцы получали зримое обозначение своей принадлежности к элите армии. С практической точки зрения гвардейские соединения отличались от обычных стрелковых дивизий улучшенным снабжением и собственными штатами — они получали все лучшее вооружение и несколько лучше комплектовались. Например, в артиллерийском полку гвардейской стрелковой дивизии было двадцать четыре 76,2-мм орудия в сравнении с двадцатью в обычной. Штат гвардейского стрелкового полка предусматривал его численность в 2713 человек, вооруженных 1006 винтовками, 788 самозарядными винтовками и 344 пистолетами-пулеметами.

В ходе оперативной паузы весной и в начале лета 1943 г., когда обе стороны не вели крупномасштабных боевых действий и усиленно готовились к намеченному на лето решительному сражению, 293-я стрелковая дивизия проходила переформировку.

На 10 июля, к моменту вступления в бой 193-й гвардейский стрелковый полк дивизии, в котором воевал М.Г.Абдулин, был укомплектован практически по штату, исключение составляли только самозарядные винтовки. Из 788 единиц по штату имелось меньше половины, 295 штук. Самозарядная винтовка была сложным в производстве и дорогим оружием, которое не мог себе позволить СССР в разгар тотальной войны. Нехватку самозарядных винтовок восполняли автоматами «ППШ». Вместо 344 единиц по штату, в 193-м гвардейском полку их было почти вдвое больше, 680 штук. Ручных пулеметов было 161, станковых 53. Основное стрелковое оружие пехотинцев двух мировых войн, винтовка явно отставала от автоматического оружия, 7,62-мм винтовок в полку было 610 единиц из 1006 по штату. Нехватка этого вида оружия была пропорциональна некомплекту рядовых бойцов. Если офицеров в полку было даже больше штатного количества, 197 человек, то сержантов было 701 вместо 770, рядовых — 1321 вместо 1748 человек (ЦАМО РФ. Ф.1197. Оп.1. Д.55. Л.2). Артиллерийское вооружение полка по сравнению с периодом Сталинградской битвы не изменилось. Его по-прежнему составляли четыре 76,2-мм полковые пушки, двенадцать 45-мм пушек, восемь 120-мм тяжелых минометов, двадцать семь 82-мм минометов и восемнадцать 50-мм минометов. Не следует также думать, что при преобразовании в гвардейский полк сразу пересел на «Студебеккеры». Основным транспортным средством оставались лошади. В полку было всего 6 грузовиков и 234 лошади из 363 по штату. Автомашины в полку, как правило,

использовались для транспортировки 120-мм минометов. 45-мм и 76-мм пушки перемещались четверкой лошадей каждая. 82-мм и 50-мм минометы несли их расчеты.

К началу Курской битвы 66-я гвардейская дивизия находилась в составе 5-й гвардейской армии Степного фронта. Степной фронт был крупным резервом советского командования в битве под Курском. К тому моменту Красная армия вернулась к упраздненному в 1941 г. корпусному звену и промежуточной инстанцией управления между дивизией и армией стал 32-й гвардейский стрелковый корпус.

В ходе оборонительной фазы сражения на Курской дуге 32-й гвардейский стрелковый корпус находился на сравнительно спокойном участке фронта, на стыке между XLVIII танковым корпусом и II танковым корпусом СС. К моменту вступления в бой 66-й гвардейской стрелковой дивизии немецкое командование уже отказалось от попыток прорыва на Курск по кратчайшему пути, через Обоянь, и сосредоточило усилия на флангах, в первую очередь против Прохоровки. Это обусловило сравнительно небольшие потери находившейся на Обояньском направлении 66-й гвардейской дивизии. На 10 июля в ней состояли 8744 солдата, сержанта и офицера, на 20 июня — 6931. Пополнение в этот период было крайне немногочисленным. 62 человека прибыли после излечения из госпиталей, 17 человек (из них 10 офицеров) поступили в качестве пополнения из корпуса и армии. Причем движение шло и в обратную сторону, 4 офицера убыли в распоряжение отдела кадров армии. За различные проступки 2 офицера, 2 сержанта и 5 солдат были направлены в штрафные роты. Собственно потери убитыми, ранеными и пропавшими без вести составили 1879 человек (ЦАМО РФ. Ф. 1197. Оп. 1. Д.55. Л.11).

За оборонительной фазой сражения на Курской дуге последовала наступательная, перешедшая в освобождение Левобережной Украины, то есть части этой советской республики, находившейся на левом берегу Днепра. После изнурительного, 350-километрового марша, сопровождавшегося тяжелейшими боями с потрепанными, но не потерявшими боеспособности частями вермахта, 5-я гвардейская армия вышла к Днепру. К этому времени 66-я гвардейская стрелковая дивизия, понеся большие потери за два с половиной месяца непрерывных боев, тем не менее сохранила боеспособность, хотя к берегам реки вышла изрядно поредевшей.

В ней числилось менее 4 тысяч человек из почти 7 тысяч, с которым дивизия вышла из боев под Курском.

Форсирование этой одной из крупнейших в Европе рек было

очень сложной операцией. Западный берег, господствовавший над восточным, был высоким и обрывистым. Несмотря на это, после выхода к Днепру советские войска захватили два десятка плацдармов, однако не все из них впоследствии были использованы. Из всех армий 2-го Украинского (такое название получил Степной фронт к моменту сражения за Днепр) только 37-я армия сумела захватить пригодный для расширения плацдарм. Захват плацдармов в районе Кременчуга 4, 5-й гвардейскими и 52-й армиями фронта был признан неудачным, и советское командование решило не упорствовать. 5-я гвардейская армия была перемещена на плацдарм, захваченный 37-й армией. Потери 66-й гвардейской стрелковой дивизии в период форсирования Днепра были не столь впечатляющими по цифрам, но весьма ощутимыми в процентном отношении к общей численности соединения. На 29 сентября 1943 г. дивизия насчитывала 3965 человек, а на 19 октября 4160 человек. Объяснялось возрастание численности прибытием в течение этих 20 дней 1041 человека в виде пополнения. Потери убитыми и ранеными за этот период составили 821 человек. За три недели боев 193-й гвардейский стрелковый полк потерял убитыми 3 офицеров, 5 сержантов, 30 рядовых, ранеными 18 офицеров, 41 сержанта, 220 рядовых, пропали без вести 2 офицера и 4 рядовых (ЦАМО РФ. Ф.1197. Оп.1. Д.55. Л.176). За это время, захваченный на Днепре плацдарм был расширен на глубину 90 километров. Оценивая этот результат, следует заметить, что основным противником советских войск и армии, в которую входила 66-я гвардейская дивизия, были танковые корпуса вермахта. Этот плацдарм сыграл свою роль зимой 1944 г., когда с него был нанесен один из двух ударов, окруживших крупную группировку немцев под Корсунь-Шевченковским.

В разгар сражения за Днепр, 9 октября 1943 г. вместо 10 596 человек по штату в дивизии насчитывалось всего 3756 человек. В 193-м гвардейском стрелковом полку вместо 2713 человек по штату было всего 609. Полк превратился в батальон, но наполовину состоявший из офицеров и сержантов. Из 609 человек 141 были офицерами, 172 —сержантами и меньше половины, 296 человек — рядовыми. Вооружался этот «офицерско-сержантский батальон» преимущественно автоматическим оружием. Винтовок было всего 240, пистолетов-пулеметов «ППШ» — 259, самозарядных винтовок — 26, 7 ручных и 4 станковых пулемета. Из артиллерии в полку остались все четыре 76,2-мм полковые пушки, четыре 45-мм пушки, семь 120-мм минометов и три 82-мм миномета (ЦАМО РФ. Ф.1197. Оп.1. Д.55. Л.134). Как мы видим, находившаяся в боевых порядках пехоты артиллерия понесла

существенные потери. Вместе с тем необходимо заметить, что сохранился практически в целости и сохранности артиллерийский полк дивизии. В нем на 9 октября 1943 г. насчитывалось одиннадцать 122-мм гаубиц и семнадцать 76,2-мм пушек. Для сравнения, 10 июля под Курском в артиллерийском полку было 12 гаубиц и 24 пушки. Артиллерийский полк соединения также сохранил высокую комплектность личного состава. Если в стрелковых полках оставалось всего около 20 % штатной численности солдат и офицеров, то в артиллерийском — более 65 % от штата. Лошади по-прежнему оставались основным транспортным средством дивизии, их было 703 против 7 легковых, 114 грузовых и 4 специальных (смонтированные на машинах радиостанции) автомашин. Собственно в 193-м гвардейском стрелковом полку было 202 лошади и 8 грузовиков.

66-я гвардейская стрелковая дивизия была типичным для Красной армии 1943–1945 гг. соединением. Хроническая неукомплектованность людьми привела к тому, что советские дивизии практически никогда не воевали в штатной или даже в близкой к штатной численности личного состава при штатной комплектности тяжелого вооружения. Если мы посмотрим на реальную гвардейскую дивизию осени 1943 г., то увидим компактное (всего около трети штатной численности), но хорошо обученное за счет большой доли офицеров и сержантов, насыщенное автоматическим оружием и поддержанное сильным артиллерийским кулаком подразделение. Значительная часть сержантов выдвигалась из хорошо себя проявивших рядовых, поэтому сержантские знаки различия были своего рода показателем выучки и инициативности бойца. Дивизия решала исход боя не человеческими волнами, топящими в море своей крови противника, но грамотными действиями хорошо подготовленных сержантов и офицеров, поддержанных артиллерией. В таком составе дивизия наступала в рядах 5-й гвардейской армии с весьма высоким, для передвигающейся пешим порядком пехоты, темпом, с захватом крупных городов (Полтавы, Кременчуга) и форсированием с ходу рек Ворскла и Псел. 5-я гвардейская армия прошла за 28 дней сентября почти 200 километров, преодолевая разрушенные при отступлении мосты и отражая непрерывные контратаки немецких танков и пехоты.

Пехота, стрелковые дивизии, составляла до 80 % общего числа соединений Красной армии. Однако в период с конца 42-го и до 45-го года, когда были проведены наступательные операции, завершившиеся разгромом гитлеровской Германии, она в какой-то мере осталась в тени танковых войск. Но именно действия

пехотинцев были тем фундаментом, на котором строились успешные операции танковых корпусов и армий. На их плечах лежала тяжелая задача уничтожения противника в очагах сопротивления, которые обошли танковые части. Автор мемуаров прошел в рядах «царицы полей», как называли пехоту сами фронтовики, огромное расстояние от Волги до Днепра. Во многих случаях противником его дивизии были танковые соединения вермахта. Это был своего рода крест пехоты — сковать танки, чтобы свои танковые корпуса и армии могли беспрепятственно прорваться в тыл и окружить противника. Тяжелые бои приводили к большим потерям, фактически дивизия несколько раз обновляла свой состав. Вместе с тем характер потерь несколько отличается от описанного М. Г. Абдул иным. Память участника событий выхватывает отдельные драматичные эпизоды операций, проецируя на них потери за целый период. Несколько преувеличивает автор также частоту и объемы поступающего пополнения. Все эти мелкие погрешности человеческой памяти не мешают мемуарам оставаться ценным свидетельством простого солдата, практически каждый день смотревшего в лицо врагу и смерти и прошедшего невредимым переломные сражения Второй мировой войны.

Алексей Исаев. Сталинград, Курск и Днепр — символы побед Красной армии

Сталинград и Курск — это русские города, названия которых широко известны за пределами России. Они дали свое имя сражениям, ставшим поворотными точками Второй мировой войны. Каждое из них получало отклик в сердцах всех граждан Советского Союза и Германии. В одних оно вселяло радость победы, других обдавало холодом грядущего поражения.

К стенам Сталинграда немецкие войска привела смена Гитлером стратегии ведения войны. Если в 1941 г. главной целью была столица СССР, то целью летней кампании 1942 г. была кавказская нефть и одна из крупнейших транспортных артерий Советского Союза — река Волга. Сталинград связывался с югом России множеством дорог, и для армии, наступающей на Кавказ, он был естественной целью, именно здесь было удобнее всего выйти к Волге. Кроме того, Сталинград был крупным промышленным центром, производящим вооружение для Красной армии. Сталинградский тракторный завод был единственным предприятием, еще до войны подготовленным для производства танков «Т-34» и не подвергшемся хаосу эвакуации. Помимо танкового производства в Сталинграде был один из старейших в России артиллерийских заводов. При советской власти он носил название «Баррикады» и производил орудия полевой артиллерии калибром до 203–280 мм. Сражение за Сталинград помимо собственно военно-экономического значения имело символический смысл. Город носил имя руководителя советского государства, и его потеря была бы сильным психологическим поражением, вселила бы уныние в народ. Сталин бы потерял лицо, утратив город, названный его именем, в котором он сам сражался в годы Гражданской войны в России. «Оборона Царицына» (так в 1919 г. назывался Сталинград) была одной из легенд новой власти, о ней снимались фильмы, писались книги и статьи, прославляющие вождя.

Уберечь сам город Сталинград от смерти и разрушения советским войскам не удалось. Из него даже не успели эвакуировать мирных жителей до начала бомбардировок с воздуха и боев на улицах города. Заводы производили оружие до тех пор, пока война не вошла в цеха предприятий. Последние танки «Т-34», выпущенные Сталинградским тракторным заводом,

принимали бой через несколько минут после схода со сборочного конвейера. Пополнения для защитников города были вынуждены преодолевать на лодках и баржах крупнейшую в Европе реку под огнем артиллерии и ударами авиации и вступать в сражение сразу после высадки с кораблей.

Пока шла война на улицах города, советское командование задумало операцию по окружению завязших в уличных боях частей 6-й полевой и 4-й танковой армий немцев. Фронт вышедших к Волге немецких армий растянулся почти на 800 км. Недостаток собственных дивизий вынудил немецкое командование прикрыть фланги наступавших на Сталинград войск румынскими и итальянскими армиями, имевшими куда меньшую боеспособность и выучку, чем немецкие дивизии. Это обещало успех в ударах по сходящимся направлениям танковыми соединениями, которым надлежало отрезать и окружить сталинградскую группировку немецких войск. Фактически советское командование бросало немцам вызов, намереваясь повторить маневр, являвшийся одной из опорных плит немецкой военной мысли. В степях у Волги и Дона советские войска должны были воспроизвести воспетые Шлиффеном «Канны», операцию на окружение с решительными целями, доселе являвшуюся визитной карточкой «блицкригов». До сих пор только советские армии и фронты становились жертвами «Канн», попадая в окружение под Минском, Киевом, Вязьмой, Брянском и Харьковом. К операции привлекались войска трех фронтов: Юго-Западного, Донского и Сталинградского. Они насчитывали к началу операции 71 стрелковую дивизию, 15 стрелковых бригад, 3 мотострелковые бригады, 8 кавалерийских дивизий в трех кавалерийских корпусах, 2 механизированных корпуса, 4 танковых корпуса, 14 танковых бригад и 4 танковых полка. Поддерживать операцию с воздуха должны были 1808 самолетов (1349 из которых были к ее началу исправными). Однако нельзя сказать, что было достигнуто подавляющее превосходство. Войска трех фронтов превосходили немцев в 1,2 раза в числе солдат и офицеров, в 1,3 раза в танках, в 1,3 раза в самолетах. Только в артиллерии было достигнуто почти двукратное превосходство. Планировал наступление под Сталинградом один из лучших советских военачальников — А.М.Василевский. Разработанный им план был изящен и по-своему красив. Танковые корпуса должны были соединиться в районе города Калач на Дону. Кавалерия, советский аналог мотопехоты вермахта, должна была нанести удары вглубь для создания внешнего фронта окружения как можно дальше от находящихся в Сталинграде корпусов и дивизий двух немецких армий, чтобы было труднее прорвать кольцо

окружения извне. Наконец, пехотинцы стрелковых дивизий советских армий должны были создать внутренний фронт окружения, чтобы попавшие в западню немцы не могли вырваться наружу. 21-я армия, в одной из дивизий которой принял бой М.Г. Абдулин, предназначалась именно для этой роли.

Операция, начавшаяся 19 ноября с 80-минутной артиллерийской подготовки, развивалась успешно. Уже 23 ноября 4-й механизированный корпус Сталинградского фронта установил связь с 4-м и 26-м танковыми корпусами Юго-Западного фронта, и почти 330 тысяч солдат и офицеров вермахта попали в окружение. Попытки снабжать их по воздуху, а затем деблокировать ударом извне провалились. Ко 2 февраля 1943 г. 6-я армия фельдмаршала Ф. Паулюса капитулировала, сам Паулюс вместе с 91 тысячью своих подчиненных попал в плен. Катастрофа 6-й армии под Сталинградом привела к краху всего похода вермахта на Кавказ. Для многих стало очевидно, что война Германией проиграна. Тем не менее вермахт еще сохранил возможность наносить чувствительные удары своим противникам и развитие советского наступления зимой — весной 1943 года натолкнулось на контрудар свежесформированного II танкового корпуса СС под Харьковом. Советское наступление было остановлено и на какое-то время на фронте установилось затишье.

После катастрофы под Сталинградом немецкое командование решило взять реванш и провести крупную операцию на окружение в районе образовавшегося в результате зимних боев 1943 г. Курского выступа. Предполагалось силами танковых корпусов групп армий «Центр» и «Юг» прорвать оборону на северном и южном фасах выступа и окружить крупные силы двух советских фронтов, Центрального и Воронежского. Операция получила название «Цитадель». Однако вермахт к тому времени был истощен двухлетней войной, когда ни на одном из участков фронта не было сколь-нибудь длительных передышек. Сильнее всего была измотана 9-я армия Вальтера Моделя, которая должна была наступать на северный фас Курской дуги. Эта армия в течение года удерживала Ржевский выступ на московском направлении, подвергаясь массированным атакам советских войск. Несмотря на то, что сокрушить оборону армии Моделя советским войскам не удалось, под непрерывными ударами артиллерии, авиации и танков дивизии 9-й армии сильно поредели. На совещании у Гитлера в мае 1943 г. Модель убедил фюрера отложить операцию до июля месяца, потратив это время на доукомплектование дивизий. Еще одним аргументом в пользу оттяжки «Цитадели» было ожидание поступления новой техники,

тяжелых танков «тигр» и средних «пантера». Для последних «Цитадель» была дебютом в качестве оружия танковых войск.

Советское командование под влиянием довольно точных данных разведки о немецких планах на летнюю кампанию 1943 г. и под впечатлением неудачи под Харьковом приняло решение встретить удар немцев на подготовленных позициях, измотать их танковые соединения, а после этого перейти в общее наступление. На несколько месяцев на советско-германском фронте воцарился штиль, прерывавшийся частными вылазками с разведывательными целями и воздушной войной на коммуникациях с целью срыва перевозок войск, вооружения и боеприпасов для грядущего сражения. Советское командование подготовило на обоих фасах Курского выступа глубоко эшелонированную оборону и накопило значительные резервы для парирования возможных неожиданностей. Таковые совсем не исключались. Данные разведки не позволили вскрыть направление главного удара, и на южном фасе дуги, где войска объединялись под руководством штаба Воронежского фронта, оборону пришлось равномерно размазать между тремя армиями: 40, 6-й гвардейской и 7-й гвардейской. Объяснялось это тем, что местность к югу от Курска была открытая, 67 % полосы Воронежского фронта (164 км) могло быть использовано для наступления танков. Впоследствии, в полосе одной из этих трех армий, 6-й гвардейской, был нанесен главный удар 4-й танковой армии Г. Гота, в полосе 7-й гвардейской армии — вспомогательный силами армейской группы «Кемпф», а в полосе 40-й армии (которая была самой сильной) вообще никто не наступал.

Операция «Цитадель» началась во второй половине дня 4 июля, когда немцы захватили господствующие над местностью высоты на южном фасе дуги с целью последующей корректировки огня артиллерии. С утра 5 июля началось наступление крупными массами танков при массированной поддержке авиации против Центрального и Воронежского фронтов. Вследствие того, что к югу от Курска советские войска были построены менее плотно, оборона 6-й гвардейской армии была прорвана, и командованию Воронежского фронта пришлось вводить в бой резервы — 1 — ю танковую армию и соединения из 40-й армии. Вскоре глубокое продвижение XXXXVIII танкового корпуса и II танкового корпуса СС вынудило советское командование ввести в бой стратегические резервы, почти 100-тысячную группировку войск в составе 5-й гвардейской армии и 5-й гвардейской танковой армии. Они должны были остановить продвижение II танкового корпуса СС в направлении Прохоровки и Обояни. 5-я гвардейская

танковая армия контратаковала панцергренадерскую дивизию СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» в районе Прохоровки, где разыгралось крупное танковое сражение. 5-я гвардейская армия была введена в бой на стыке между II танковым корпусом СС и XXXXVIII танковым корпусом. Своим левым флангом 5-я гвардейская армия сражалась с панцергренадерской дивизией СС «Мертвая голова», в которой насчитывалось 13 «тигров», в излучине реки Псел вообще не имея танков. Правому флангу 5-й гвардейской армии, в который входил 32-й гвардейский стрелковый корпус, было намного легче — он, во взаимодействии с танками 1-й гвардейской танковой армии, контратаковал XLVIII танковый корпус, потерявший к тому моменту почти все свои «тигры» и «пантеры». В 66-й гвардейской стрелковой дивизии 32-го корпуса воевал М.Г. Абдулин. Введение в бой крупных резервов, начало наступления на юге советско-германского фронта, на реке Миус, а также высадка союзников в Италии, вынудили немецкое командование отказаться от продолжения операции «Цитадель». Основная ударная сила 4-й танковой армии, II танковый корпус СС был переброшен на Миус, элитная дивизия «Великая Германия» перевозилась в Орловский выступ для отражения наступления против войск Моделя. Однако сил сдерживать фронт, атакованный советскими войсками на нескольких направлениях, у немецкого командования уже не было. Советские войска перешли в широкомасштабное наступление. В начале августа 1943 г. к ним присоединился пополнившийся и восстановивший силы после тяжелого оборонительного сражения Воронежский фронт, и в том числе 5-я гвардейская армия. В ходе Белгородско-Харьковской наступательной операции был наконец освобожден город Харьков, предыдущие попытки возврата которого в мае 1942 г. и зимой 1943 г. заканчивались для Красной армии тяжелыми поражениями. Теперь город был захвачен сравнительно легко, и Красная армия перешла к освобождению Левобережной Украины.

К концу сентября 1943 г. советские войска на широком фронте вышли к Днепру. Это была одна из крупнейших рек в европейской части СССР, ширина ее на некоторых участках достигала 4 км. В силу известных физических законов правый берег Днепра был крутым и обрывистым, затруднявшим его захват и скрывавшим от наблюдения систему обороны немцев. Несколько облегчалась задача наступающего наличием на Днепре небольших островков, позволявших преодолевать реку в два этапа. Советским командованием было принято решение с ходу форсировать Днепр на подручных средствах — баржах, лодках, плотах с целью образовать большое количество плацдармов. В

этом решении был свой смысл, немецкое командование дезориентировалось относительно места, где небольшой клочок суши станет опорным пунктом для дальнейшего наступления. Также была возможность определить участок с самым слабым сопротивлением и перебросить на него крупные силы. У такого неординарного способа форсирования были и более прозаические причины: советские войска наступали к Днепру огромными для передвигающейся пешком пехоты темпами. Так, например, войска Степного фронта проходили в день в среднем 9 километров. Наступление при этом велось по «выжженной земле», которую оставляли за собой оккупанты. Разрушались дороги, мосты, что затрудняло снабжение вырвавшихся вперед корпусов и дивизий. Отставали от войск и инженерные средства, прежде всего громоздкие понтонные парки. Рядовым явлением было, когда на целую армию, начавшую форсирование, приходилось три понтона (!!!), то есть даже не было комплекта для создания наплавного моста, а лишь его небольшие фрагменты.

Всего к 30 сентября 1943 г. советскими войсками было захвачено 23 плацдарма на Днепре и еще 2 плацдарма на притоке Днепра, реке Припяти. В полосе Степного фронта, в который входила 66-я гвардейская дивизия М.Г. Абдулина, наиболее перспективный плацдарм был захвачен 37-й армией южнее Кременчуга. К 10 октября этот плацдарм был расширен до 35 км по фронту и 6—12 км в глубину и снабжался по двум сооруженным саперами мостам и четырем паромным переправам. Захваченные остальными армиями плацдармы было решено не углублять, а рокировать основные силы на захваченный 37-й армией плацдарм. Так 66-я гвардейская стрелковая дивизия и 5-я гвардейская армия в целом были перемещены на правый берег Днепра и вступили в бои за расширение плацдарма, который должен был стать базой для наступления зимой 1944 г. Надежда немецкого командования на удержание советских войск за крупной водной преградой провалилась.

Судьба М.Г. Абдулина во многом уникальна, он в качестве рядового солдата своими глазами увидел три решающих сражения Великой Отечественной войны. Учитывая постоянные переформирования, переброски армий и дивизий на разные участки фронта, это было непросто. Кроме того, круговерть больших сражений уносила сотни и тысячи жизней и для рядового солдата боевых подразделений, идущего впереди под огнем орудий и пулеметов, пережить сразу три крупные битвы было большой удачей. Абдулин выжил в их пламени и смог нам о них рассказать.

Иллюстрации

Пехота наступает. На переднем плане: солдат вооружен полуавтоматической винтовкой СВТ. Рядом с ним: пулеметчик с пулеметом ДП. Бегущий солдат на заднем плане вооружен винтовкой Мосина

Сидит крайний слева командир батальона Николай Картошенко, 1944 г.

Генерал-майор И. Тухкру, 1983 г.

А. Емельянов, 1941 г.

Мансур Абдулин, 1985 г.

Генерал-лейтенант Александр Родимцев, командир 32-го Гвардейского стрелкового корпуса. Отличился в боях за Сталинград, командуя 13-й Гвардейской стрелковой дивизией

Николай Кобылин, 1976 г.

Командир батальона Федор Гридасов

Нижний ряд слева направо: Матрена Шепилова, Александр Шоничев, Тася Скоморохова. Верхний ряд: неизвестно, воспитанник Евтушенко, неизвестно

Мансур Абдулин, 1998 г.

Мансур Абдулин, 1944 г.

Мемориал на месте встречи Сталинградского и Юго-Западного фронтов, завершивших окружение Сталинградской группировки немцев рядом с г. Калач

В минуту затишья. Парикмахер прибыл в передвижную типографию. 1944 г.

Письмо Алексея Янсона с фронта домой

Алексей Янсон, 1943 г. Фотография на партбилет

Рядовой автоматчик С.С. Семибратов. Из письма М.Г. Абдулину 20 февраля 1988 г.: «К моему огорчению (как знать, что лучше?), мое пребывание на фронте длилось какое-то мгновение, я только успел запомнить «мощные» бои с танками и артиллерией в обороне и наступлении с 5 июля 1943 г., а 29 июля меня тяжело ранило. Не успел я близко познакомиться с товарищами, не помню и фамилию командира роты. Осталось только, как нас, однополчан, называли «билаоновцами» по командиру полка. Мне в ту пору шел восемнадцатый год»

Мансур Абдулин, 1985 г.

Медсестра Смирнова Александра Николаевна

Солдаты изучают 50-мм миномет образца 1941 г.

Расчет пулемета «максим» меняет позицию

Расчет 82-мм миномета меняет позицию

Полевая кухня

Солдаты на отдыхе. Фотография сделана в первые годы войны. Свидетельство тому — ранняя модель ППШ у одного из бойцов и буденовка на голове у солдата, стоящего справа

Медики используют свободную минуту, чтобы просушить портянки и вскипятить чай

Расчет наводит 82-мм миномет на вражеские позиции

Расчет 82-мм миномета на хорошо подготовленных позициях — это было возможно только в условиях стабилизировавшегося фронта, как, например, Карельского, где и была сделана эта фотография

Расчет 82-мм миномета

Расчет 82-мм миномета

Расчет 45-мм орудия на прямой наводке. Потери среди артиллеристов-сорокапяточников были очень большими. Не случайно орудие получило прозвище «Прощай, Родина»

Атака по снегу. Расчет пулемета «максим» ведет огонь по врагу. Этот пулемет использовался в Красной Армии в течение всей войны. Будучи тяжелым и имея водяное охлаждение, он тем не менее отличался надежностью

На отдыхе

Лейтенант поднимает солдат в атаку

Солдаты позируют на фоне захваченных трофеев

Пехота на броне легкого танка Т-26 идет в атаку

Девушка практикуется в стрельбе из нагана

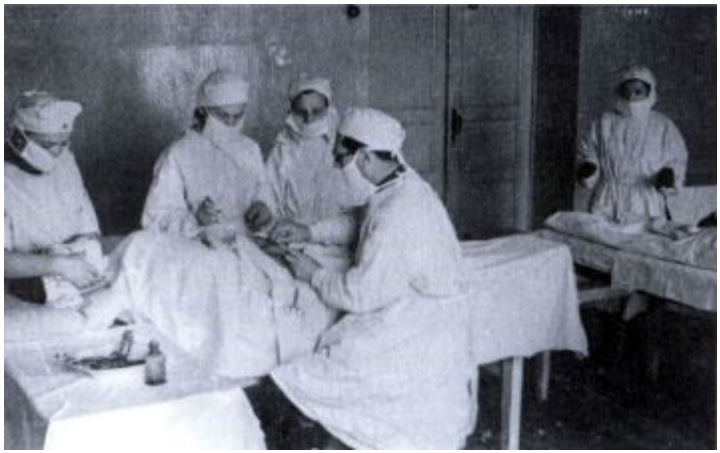
Солдаты изучают самозарядную винтовку СВТ. Винтовка была очень хорошим, но дорогим в производстве оружием. Кроме

того, она требовала тщательного ухода, отсутствие которого в пехоте, где большинство личного состава не обладало достаточной технической культурой, приводило к жалобам на ее ненадежность

Первые дни войны. Добровольцы осаждают военкоматы

Красноармейцы садятся в ГАЗ-АА «полуторку»

Госпиталь. Перевязка раненых



В операционной фронтового госпиталя

Концерт в госпитале

Расчет 82-мм миномета

Солдаты едут на фронт

Атака пехоты при поддержке Т-34-76

В разведке

Политинформация. Комиссар с ППД читает газету «Правда» бойцам. Справа: солдат вооружен снайперской винтовкой с оптическим прицелом ПЕ

Бронебойщики с ПТРД — противотанковым ружьем

Бронебойщики с ПТРД — противотанковым ружьем

Опустошение и горечь войны

Медаль «За отвагу». Первая награда Мансура Абдулина, одна из наиболее ценимых среди фронтовиков

«Смертный медальон». Солдаты должны были заполнить анкетку и хранить ее в медальоне. Однако часто они считали, что в этом случае их точно убьют, и либо выкидывали медальон, либо использовали не по назначению, как Мансур, хранивший в нем свой талисман

Немецкие солдаты, убитые возле бронетранспортера

Закурим! Солдат, стоящий слева, прикуривает «козью ножку»

Павел Суворов (рисунок Мансура Абдулина)

Повар Цибуля (рисунок Мансура Абдулина)

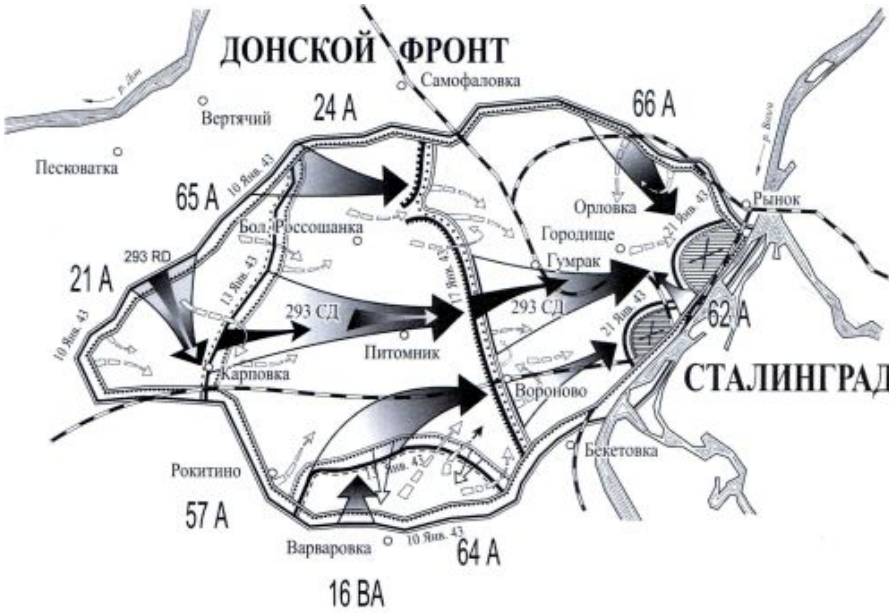
Майоров (рисунок Мансура Абдулина)

Фуат Ходайбергенов (рисунок Мансура Абдулина)

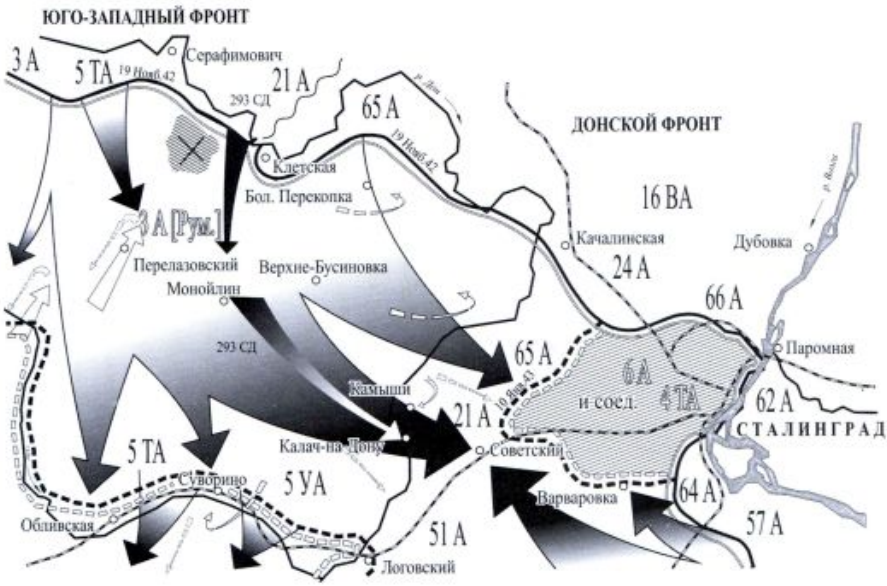
Бой в городских руинах

Полупустая пулеметная лента «максима» говорит о том, что эти солдаты до конца выполнили свой долг перед Родиной

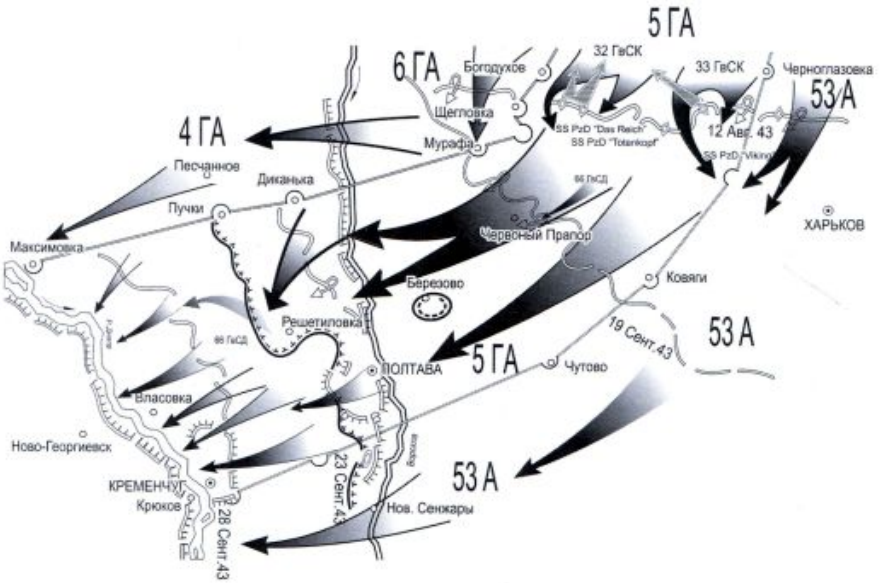
Белгород-Харьковская. Стратегическая наступательная операция «Румянцев»



Операция «Кольцо». Уничтожение немцев, окруженных в Сталинграде



Операция «Уран». Окружение немцев под Сталинградом



Выход к Днепру. Наступление 5-й Гвардейской армии

Если можно сказать «повезло» о человеке, тяжело раненном и комиссованном вчистую, то Мансур Абдулин был на редкость удачлив. Ему повезло, что, попав на фронт осенью кровавого 1942 года, он начал воевать в подразделении батальонных 82-мм минометов, расчет которых располагался в 100 метрах от переднего края. Ему повезло выжить, отвоевав целый год, хотя средняя продолжительность жизни пехотинца составляла от двух недель в наступлении до месяца в обороне. Он участвовал в таких ключевых операциях Красной Армии, как «Уран», «Кольцо», «Румянцев», Курской оборонительной, пройдя путь от минометчика до комсорга батальона и от Сталинграда до Днепра. Ему повезло, что, получив тяжелое ранение, он был быстро эвакуирован с поля боя, а высокопрофессиональные врачи спасли ему ногу.

Эта книга – настоящая «окопная правда» Великой Отечественной, потрясающие мемуары фронтовика о людях, деливших с ним радости побед и горечь поражений, об испытаниях, выпавших на их долю, о тяжелом и кровавом солдатском труде.

ЭКСМО
ЯУЗА
ISBN 978-5-699-39873-7
9 785699 398737